

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 4. СТИХИ.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Родилась Ольга Федоровна Берггольц 16 мая 1910 в Петербурге, в семье заводского врача. Мать - Мария Тимофеевна Берггольц, младшая сестра - Мария. В 1930 Ольга Берггольц окончила филологический факультет Ленинградского университета. В декабре 1938 Ольгу Берггольц по ложному обвинению заключили в тюрьму, но в июне 1939 выпустили на свободу. Беременная, она полгода провела в тюрьме, где после пыток родила мертвого ребенка. В годы блокады 1941-1943 Ольга Берггольц находилась в осажденном фашистами Ленинграде. В ноябре 1941 ее с тяжело больным мужем должны были эвакуировать из Ленинграда, но Николай Степанович Молчанов умер и Ольга Федоровна осталась в городе. Спустя самое недолгое время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. В Доме Радио она работала все дни блокады, почти ежедневно ведя радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу "Говорит Ленинград". Ольга Берггольц была награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. ¹
Умерла Ольга Федоровна Берггольц 13 ноября 1975 в Ленинграде.

29 ЯНВАРЯ 1942

Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.

Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.

Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.

И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна - везде и всюду
в твоём последнем пасмурном бреду...

Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила
всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.

На страсть и ревность - пусть придет другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землей.

Ну что ж, пусть будет так...

Январь 1942

.

АЛЕНУШКА

1

Когда весна зеленая
затеплится опять —
пойду, пойду Алenuшкой
над омутом рыдать.
Кругом березы кроткие
склоняются, горя.
Узорною решеткою
подернута заря.

А в омуте прозрачная
вода весной стоит.
А в омуте-то братец мой
на самом дне лежит.

На грудь положен камушек
граненый, не простой...
Иванушка, Иванушка,
что сделали с тобой?!

Иванушка, возлюбленный,
светлей и краше дня,—
потопленный, погубленный,
ты слышишь ли меня?

Оболганный, обманутый,
ни в чем не виноват —
Иванушка, Иванушка,
воротисься ль назад?

Молчат березы кроткие,
над омутом горя.
И тоненькой решеткою
подернута заря...

2

Голосом звериным, испуганная,
я кричу над омутом с утра:
«Совість світлая моя, Алєнушка!
Отзовись мне, старшая сестра.

На дворе костры разложат вечером,
смертные отточат лезвия.
Возврати мне облик человеческий,
светлая Алєнушка моя.

Я боюсь не гибели, не пламени —
оборотнем страшно умирать.
О, прости, прости за послушание!
Помоги заклятье снять, сестра.

О, прости меня за то, что, жаждая,
ночью из звериного следа
напилась водой ночной однажды я...
Страшной оказалась та вода...»

Мне сестра ответила: «Родимая!
Не поправить нам людское зло.
Камень, камень, камень на груди моей.
Черной тиной очи занесло...»

...Но опять кричу я, испуганная,
страх звериный в сердце не тая...
Вдруг спасет меня моя Алєнушка,
совість отчужденная моя?

1940

БАБЬЕ ЛЕТО

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето

и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и темною нивой...
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И всё же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды всё строже...

Вот видишь - проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться.

1956, 1960

БЕАТРИЧЕ

В небе грозно бродят тучи,
закрываю Данте я...
В сумрак стройный и дремучий
входит комната моя...

Часто-часто сердце кличет
в эти злые вечера:
Беатриче, Беатриче,
неизвестная сестра...

Почему у нас не могут
так лелеять и любить?

Даже радость и тревогу
не укроешь от обид...

Почему у нас не верят,
а позорно и смешно
так любить, как Алигьери
полюбил тебя — давно?..

Тупорылыми словами
может броситься любой,
заклеймили сами, сами
эту строгую любовь...

И напрасно сердце кличет,
затихая ввечеру,
Беатриче, Беатриче,
непонятную сестру.

7 октября 1927

БЕССОННИЦА

В предутрии деревня,
лесная сторона.
И слухом самым древним
бессонница полна.

Пыхтят и мреют кочки
у залежей озер.
Над кладом кличет кочет
в двенадцатый дозор.

А в чаще бродят лоси,
туман на их рогах,
глядят, обнюхав росы,
за синие лога.

К осокам тянут утки —

прохладны крылья всех;
и теплый заяц чутко
привстал в сыром овсе...

Мой милый где-то дрогнет
за кряквами пошел.
Тревожен пыж у дробин,
и холод словно шелк.

...Предутреннему зверю,
ночному ковылю,
тебе и кладу - верю,
как песне, и люблю...

<1927 или 1928>

БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА

Весной сорок второго года
множество ленинградцев
носило на груди жетон -
ласточку с письмом в клюве.

Сквозь года, и радость, и невзгоды
вечно будет мне сиять одна -
та весна сорок второго года,
в осажденном городе весна.

Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало: "Жду письма".

Этот знак придумала блокада.
Знали мы, что только самолет,
только птица к нам, до Ленинграда,
с милой-милой родины дойдет.

...Сколько писем с той поры мне было.

Отчего же кажется самой,
что доныне я не получила
самое желанное письмо?!

Чтобы к жизни, вставшей за словами,
к правде, влитой в каждую строку,
совестью припасть бы, как устами
в раскаленный полдень - к роднику.

Кто не написал его? Не выслал?
Счастье ли? Победа ли? Беда?
Или друг, который не отыскан
и не узнан мною навсегда?

Или где-нибудь доныне бродит
то письмо, желанное, как свет?
Ищет адрес мой и не находит
и, томясь, тоскует: где ж ответ?

Или близок день, и непременно
в час большой душевной тишины
я приму неслыханной, нетленной
весть, идущую еще с войны...

О, найди меня, гори со мною,
ты, давно обещанная мне
всем, что было,- даже той смешною
ласточкой, в осаде, на войне...

1945

БОРИСУ КОРНИЛОВУ

...И все не так, и ты теперь иная.
поешь другое, плачешь о другом...

Б. Корнилов

О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь,
а может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
 ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать,—
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем,—
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.

1939

2

Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невой,
заставские бормочут соловьи...»

...Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый и пропащий,—
пою другое,
плачу о другом...

А юные девчонки и мальчишки
они — о том же: сумерки, Нева...
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.

1940

В ДОМЕ ПАВЛОВА

В твой день мело, как десять лет назад.
Была метель такой же, как в блокаду.
До сумерек, без цели, наугад
бродила я одна по Сталинграду.

До сумерек — до часа твоего.
Я даже счастьем не отдам его.

Но где сказать, что нынче десять лет,
как ты погиб?..

 Ни друга, ни знакомых...
И я тогда пошла на первый свет,
возникший в окнах павловского дома.

Давным-давно мечтала я о том —
к чужим прийти как близкой и любимой.
А этот дом — совсем особый дом.
И стала вдруг мечта неодолимой.

Весь изрубцован, всем народом чтим,
весь в надписях, навеки неизменных...
Вот возглас гвардии,
 вот вздох ее нетленный:
«Мать Родина! Мы насмерть здесь стоим...»

О да, как вздох — как выдох, полный дыма,
чернеет букв суровый тесный ряд...
Щепоть земли твоей непобедимой
берут с собой недаром, Сталинград.

И в тот же дом, когда кругом зола
еще хранила жар и запах боя,
сменив гвардейцев, женщина пришла
восстановить гнездо людское.

Об этом тоже надписи стоят.
Год сорок третий; охрой скупой, сжато

начертано: «Дом годен для жилья».
И подпись легендарного сержанта.

Кто ж там живет

и как живет — в постройке,
священной для народа навсегда?
Что скажут мне наследники героев,
как объяснить — зачем пришла сюда?

Я, дверь не выбирая, постучала.
Меня в прихожей, чуть прибавив света,
с привычною улыбкой повстречала
старуха, в ватник стеганый одета.

«Вы от газеты или от райкома?
В наш дом частенько ходят от газет...»
И я сказала людям незнакомым:
«Я просто к вам. От сердца. Я — поэт». -
«Нездешняя?» —

«Нет... Я из Ленинграда.
Сегодня память мужа моего:
он десять лет назад погиб в блокаду...»
И вдруг я рассказала про него.

И вот в квартире, где гвардейцы бились
(тут был КП, и пулемет в окне),
приходу моему не удивились,
и женщины обрадовались мне.

Старуха мне сказала: «Раздевайся,
напьемся чаю — вон, уже кипит.
А это — внучки, дочки сына Васи,
он был под Севастополем убит.
А Миша — под Японией...»

Старуха

уже не плакала о сыновьях:
в ней скорбь жила бессрочно, немо, глухо,
как кровь и как дыханье,— как моя.

Она гордилась только тем, что внучек
из-под огня сумела увезти.

«А старшая стишки на память учит
и тоже сочиняет их...

Прочти!»

И рыженькая девочка с волнением
прочла стихи, сбиваясь второпях,
о том, чем грезит это поколение,—
о парусе, белеющем в степях.

Здесь жили рядовые сталинградцы:
те, кто за Тракторный держали бой,
и те, кто знали боль эвакуации
и возвратились первыми домой...

Жилось пока что трудно: донимала
квартирных неполадок маета.
То свет погас, то вдруг воды не стало,
и, что скрывать,— томила теснота.

И, говоря то с лаской, то со смехом,
что каждый, здесь прописанный,- герой,
жильцы уже мечтали — переехать
в дома, что рядом поднял Гидрострой.

С КП, из окон маленькой квартиры,
нам даже видно было, как плыла
над возникавшей улицею Мира
в огнях и вьюге — узкая стрела.

«А к нам недавно немки прилетали,—
сказала тихо женщина одна,—
подарок привозили — планетарий.
Там звезды, и планеты, и луна...»

«И я пойду взглянуть на эти звезды,—
промолвил, брови хмуря, инвалид.—

Вот страшно только, вдруг услышу:
 «Во-оз-дух!»
Семья сгорела здесь... Душа болит».

И тут ворвался вдруг какой-то парень,
крича: «Привет, товарищи! Я к вам...
Я — с Карповской... А Дон-то как ударит!
И — двинул к Волге!.. Прямо по снегам...»

И девочка схватилась за тетрадку
и села в угол: видимо, она
хотела тотчас написать украдкой
стихотворенье «Первая волна»...

Здесь не было гвардейцев обороны,
но мнилось нам,
 что общий наш рассказ
о будущем, о буднях Волго-Дона
они ревниво слушают сейчас.

...А дом — он будет памятником.
 Знамя —
огромное, не бархат, но гранит,
немеркнувшее каменное пламя —
его фасад суровый осенит.
Но памятника нет героям краше,
чем сердце наше,
 жизнь простая наша,
обычайшая жизнь под этой кровлей,
где каждый камень отвоеван кровью,
где можно за порогом каждой двери
найти доверье за свое доверье
и знать, что ты не будешь одинок,
покуда в мире есть такой порог...
Ноябрь 1952

В СТАЛИНГРАДЕ

Здесь даже давний пепел так горяч,
что опалит - вдохни,
припомни,
 тронь ли...

Но ты, ступая по нему, не плачь
и перед пеплом будущим не дрогни...

1952

* * *

Вечерняя станция.
желтая заря...
По перрону мокрому
я ходила зря.
Никого не встречу я,
никого, никого.
лучшего товарища,
друга моего...
Никуда не еду я
никуда, никуда...
Не блеснут мне полночью
чужие города.
Спутника случайного
мне не раздобыть,
легкого, бездомного
сердца не открыть.
Сумерки сгущаются,
ноют провода.
Над синими рельсами
поднялась звезда.
Недавней грозою
пахнет от дорог.
Малые лягушечки
скачут из-под ног.

1935

* * *

Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным, с темной думою,
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя.

1942

* * *

Во имя лучшего слова,
одного с тобою у нас,
ты должен
влюбиться снова,
сказать мне об этом сейчас.

Смотри, ты упустишь время!
Тяжелой моей любви
счастливое, гордое бремя,
не медля, обратно зови.

Ты лучшей не сыщешь доли,
высот не найдешь других,
ибо в ней - последняя воля,
последний воздух Двоих.

1949

* * *

Вот затихает, затихает
и в сумерки ютится день.
Я шепотом перебираю
названья дальних деревень.

Ты вечереешь, Заручевье,
и не смутит твоих огней
на дикой улице кочевье
пугливых молодых коней...

Ты знаешь, что за темным полем
стоит старинный, смуглый Бор
и звездным заводям Заполек
вручает прясла и забор...

Крепки в Неронове уставы
старообрядческих годов,
и скобки древние у ставен,
и винный запах у садов.

А заповедные кладбища
шмурыгой-лесом занесло,
и соглядатай не разыщет
и не прочтет заветных слов.

Ты вечереешь, Заручевье,
грибами пахнет по дворам...

.....
А ты? Не знаю, где ты, чей ты
и кто с тобой по вечерам...
Октябрь 1927, Ленинград

* * *

Галдарейка, рыжеватый снег,
небо в наступившем декабре,
хорошо и одиноко мне
на заставском замершем дворе.

Флигель окна тушит на снегу,
и деревья тонкие легки.
Не могу укрыться, не могу
от ночного инея тоски,
если небо светится в снегу,
если лай
 да дальние гудки...

Вот седой, нахохленный сарай
озарит рыданье петуха —
и опять гудки,
 и в переулке лай,
и заводу близкому вздохнуть...

Всё я жду -
 придешь из-за угла,
где фонарь гадает на кольцо.
Я скажу:
 «Я — рада!
 Я ждала...
У меня холодное лицо...»

Выпал снег... С заводов шли давно.
«Я ждала не только эту ночь.
Лавочка пушиста и мягка.
Ни в душе,
 ни в мире не темно,
вздрагивает на небе слегка...»

Но ложится иней на плечах.
За тремя кварталами пытит
темный поезд, уходящий в час

на твои далекие пути...

1927 или 1928

ГРИПП

Эти сны меня уморят
в злой тоске!..
Снилось мне, что я у моря,
на песке...
И мельтешит альбатросов
белизна,
И песков сырую россыпь
мнет волна.
Я одна на побережье,
на песке.
Чей-то парус небо режет
вдалеке...
И густое солнце стелет
зной вокруг...
...Я очнулась на постели
вся в жару...
Но вокруг еще — кораллы,
моря хрип...
Мне сказали — захворала!
Это — грипп...
«Да, конечно, это климат
подкачал...
Ты просил меня, любимый,
не скучать.
Я старалась не заплакать
при тебе...
Но зачем такая слякоть,
свист в трубе?!
Я боюсь — меня уморят
города...
Мы с тобой увидим море
скоро... да?»

31 января 1927

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ДОЧЕРЯМ

1

Сама я тебя отпустила,
сама угадала конец,
мой ласковый, рыженький, милый,
мой первый, мой лучший птенец...

Как дико пустует жилище,
как стынут объятия мои:
разжатые руки не сыщут
веселых рученок твоих.

Они ль хлопотали, они ли,
теплом озарив бытие,
играли, и в ладошки били,
и сердце держали мое?

Зачем я тебя отпустила,
зачем угадала конец,
мой ласковый, рыженький, милый,
мой первый, мой лучший птенец?

2

На Сиверской, на станции сосновой,
какой мы страшный месяц провели,
не вспоминая, не обмолвись словом
о холмике из дерна и земли.
Мы обживались, будто новоселы,
всему учились заново подряд
на Сиверской, на станции веселой,
в краю пилотов, дюн и октябрят.
А по кустам играли в прятки дети,
парашютисты прыгали с небес,
фанфары ликовали на рассвете,
грибным дождем затягивало лес,
и кто-то маленький, не уставая,
кричал в соседнем молодом саду
баском, в ладошки: «Майя, Майя! Майя!..»

И отзывалась девочка: «Иду...»

1935, 1937

ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ ПАРК

Вот город, я и дом — на горизонте дым
за сорокаминутным расстояньем...
Сады прекрасные, осенние сады
в классическом багряном увяданье!

И странствует щемящий холодок,
он пахнет романтичностью струи,
замшелю фонтанною водой,
гранитом портиков
и щелями руин.

А лукоморье смеркнется вблизи,
не узнанное робкими стихами.
И Делия по берегу скользит,
обветренную статуей стихая...

Сады прекрасные!
Я первый раз
аллеи ваши в узел завязала,
но узнаю по смуглым строфам вас
от ямбов опьяненными глазами,
которые рука его слагала.

1927 или 1928

* * *

Должно быть, молодости хватает,
душа, наверно, еще легка -
если внезапная наступает
на жажду похожая тоска,
когда становится небо чище,
и тонкая зелень мерцает везде,

и ты пристанища не отыщешь
в любимом городе, полном людей,-
тоска о любви, еще не бывшей,
о не свершенных еще делах,
о друзьях неизвестных, не приходивших,
которых задумала и ждала...

1935

ДОРОГА В ГОРЫ

1

Мы шли на перевал. С рассвета
менялись года времена:
в долинах утром было лето,
в горах — прозрачная весна.

Альпийской нежностью дышали
зеленоватые луга,
а в полдень мы на перевале
настигли зимние снега,

а вечером, когда спуститься
пришлось к рионским берегам,—
как шамаханская царица,
навстречу осень вышла к нам.

Предел и время разрушая,
порядок спутав без труда,—
о, если б жизнь моя — такая,
как этот день, была всегда!

2

На Мамисонском перевале
остановились мы на час.
Снега бессмертные сияли,
короной окружая нас.

Не наш, высокий, запредельный
простор, казалось, говорил:
«А я живу без вас, отдельно,
тысячелетьями, как жил».
И диким этим безучастьем
была душа поражена.
И как зенит земного счастья
в душе возникла тишина.
Такая тишина, такое
сошло спокойствие ее,
что думал — ничего не стоит
перешагнуть в небытие.
Что было вечно? Что мгновенно?
Не знаю, и не всё ль равно,
когда с красою неизменной
ты вдруг становишься одно.
Когда такая тишина,
когда собой душа полна,
когда она бесстрашно верит
в один-единственный ответ —
что время бытию не мера,
что смерти не было и нет.

1939-1940

* * *

Друзья твердят: "Все средства хороши,
чтобы спасти от злобы и напасти
хоть часть Трагедии,
хоть часть души..."

А кто сказал, что я делюсь на части?

И как мне скрыть - наполовину - страсть,
чтоб страстью быть она не перестала?
Как мне отдать на зов народа часть,
когда и жизни слишком мало?
Нет, если боль, то вся душа болит,
а радость - вся пред всеми пламенеет.

И ей не страх открытой быть велит -
ее свобода,
та, что всех сильнее.

Я так хочу, так верю, так люблю.
Не смейте проявлять ко мне участия.
Я даже гибели своей не уступлю
за ваше принудительное счастье...

1949

ЕВРОПА. ВОЙНА 1940 ГОДА

Илье Эренбургу¹

1

Забыли о свете
вечерних окон,
задули теплый рыжий очаг,
как крысы, уходят
глубоко-глубоко
в недра земли и там молчат.
А над землею
голодный скрежет
железных крыл,
железных зубов
и визг пилы: не смолкая, режет
доски железные для гробов.
Но всё слышнее,
как плачут дети,
ширится ночь, растут пустыри,
и только вдали на востоке светит
узенькая полоска зари.
И силуэтом на той полоске
круглая, выгнутая земля,
хата, и тоненькая березка,
и меченосные стены Кремля.

2

Я не видала высоких крыш,
черных от черных дождей.
Но знаю
 по смертной тоске своей,
как ты умирал, Париж.

Железный лязг и немая тишь,
и день похож на тюрьму.
Я знаю, как ты сдавался, Париж,
по бессилию моему.

Тоску не избудешь,
 не заговоришь,
но всё верней и верней
я знаю по ненависти своей,
как ты восстанешь, Париж!

3

Быть может, близко сроки эти:
не рев сирен, не посвист бомб,
а *тишину* услышат дети
в бомбоубежище глухом.
И ночью, тихо, вереницей
из-под развалин выходя,
они сперва подставят лица
под струи щедрого дождя.
И, точно в первый день творенья,
горячим будет дождь ночной,
и восклубятся испаренья
над взрытою корой земной.
И будет ветер, ветер, ветер,
как дух, носиться над водой...
...Все перебиты. Только дети
спаслись под выжженной землей.
Они совсем не помнят года,
не знают — кто они и где.

Они, как птицы, ждут восхода
и, греясь, плещутся в воде.
А ночь тиха, тепло и сыро,
поток несет гряды костей...
Вот так настанет детство мира
и царство мудрое детей.

4

Будет страшный миг
будет тишина.
Шепот, а не крик:
«Кончилась война...»

Темно-красных рек
ропот в тишине.
И ряды калек
в розовой волне...

5

Его найдут
в долине плодородной,
где бурных трав
прекрасно естество,
и удивятся силе благородной
и многослойной ржавчине его.
Его осмотрят
с трепетным вниманьем,
поищут след — и не найдут
следа,
потом по смутным песням
и преданьям
определят:
он создан для труда.
И вот отмоют
ржавчины узоры,
бессмертной крови сгустки
на броне,

прицепят плуги,
 заведут моторы
и двинут по цветущей целине.
И древний танк,
 забыв о нашей ночи,
победным ревом
 сотрясая твердь,
потащит плуги,
 точно скот рабочий,
по тем полям, где нес
 огонь и смерть.

6

Мечи острим и готовим латы
затем, чтоб миру предстала Ты
необоримой, разящей,
 крылатой,
в сиянье Возмездия и Мечты.
К тебе взывают сестры и жены,
толпа обезумевших матерей,
и дети,
 бродя в городах сожженных,
взывают к тебе:
 «Скорей, скорей!»
Они обугленные ручонки
тянут к тебе во тьме, в ночи...
Во имя
 счастливейшего ребенка
латы готовим, острим мечи.
Всё шире ползут
 кровавые пятна,
в железном прахе земля,
 в пыли...
Так будь же готова
 на подвиг ратный —
освобожденье всея земли!

1940

* * *

...Еще редактор книжки не листает
с унылой и значительною миной,
и расторопный критик не ругает
в статье благонамеренной и длинной,
и я уже не потому печальна:
нет, всё, что днями трудными сияло,
нет, всё, что горько плакало ночами,—
не выплакала я, не рассказала.

Я — не они — одна об этом знаю!
О тайны сердца, зреющего в бури!
Они ревнуют, и они ж зывают
к стихам...

И ждут, чело нахмутив...

1940

ЗАМЕТЬ

Заметь, заметь! Как легчает сердце,
Если не подумать о себе,
Если белое свистит и вертится
По глухой осине-голытьбе...

Я не знаю — кто я, для кого я,
Чьи сегодня брови отогреть?
Верно то, что за сугробным воем
Вязнет полночь в жухлой проворе...

— Задышается, синеет, молит...
Не моя ль то песня, не моя ль?
Заметь, ты пророчествуешь, что ли,
Накипая мукой по краям?

Ей ли, проще радужного ситца
Растянув пургой спаленный рот,—

Посинеть, задохнуться и биться
У чужих заборов и ворот?..

Не хочу! Не верится, не верится
Наколдованной такой судьбе
...Как легчает, как пустеет сердце,
Если не подумать о себе.

<1927-1928>

* * *

...И вновь одна, совсем одна — в дорогу.
Желанный путь неведом и далек,
и сердце жжет свобода и тревога,
а в тамбуре — свистящий холодок.

Как будто еду юности навстречу...
Где встретимся? Узнаю ли? Когда?
Таким ли синим будет этот вечер?
Такой ли нежной первая звезда?

Она *тогда* была такой. Несмело,
тихонько зажигалась в вышине,
и разгоралась, и потом летела
все время рядом с поездом — в окне.

А полустанок, где всегда хотелось
вдруг соскочить
и по крутой дорожке
уйти в лесок, сквозной, зелено-белый,
и жить вон в той бревенчатой сторожке?

А пристань незнакомая, ночная,
огни в воде, огни на берегу...
Там кто-то ждет, и я его не знаю,
но даже издали узнать смогу.

Еще минута — подойдет и скажет:
«Ну, наконец ты здесь! А я — к тебе».
И я сначала не отвечу даже,
я только руки протяну судьбе.

Пусть этого не будет, пусть,
но может,
ведь может быть?!
И, сердце веселя,
все обещает счастье, все тревожит
в пути к труду, большому, как Земля.

Мне встретится ль такой же полустанок,
такая ж пристань, с той же ворожкой,
мне, знающей давно, что не расстанусь
ни с городом, ни с домом, ни с тобой?..

...И все-таки я юность повстречала —
мою, прекрасную, но ставшую иной:
мы встретились у черных свай причала,
в донской степи, завьюженной, ночной;
там, где до звезд белы снега лежали,
там, где рыдал бубенчик-чародей,
где ямщики под песню замерзали,
под ту, что нет печальней и светлей.
Не в той юнгштурмовке темно-зеленой,
в другой одежде, с поступью иной,—
как рядовой строитель Волго-Дона,
так повстречалась молодость со мной.

.....
И долго буду жить я этой встречей,
суровой встречей, гордой и простой.
Нет, был не ласков тот февральский вечер
он был железным трепетом отмечен
и высшей — трагедийной — красотой.

Нас было трое около причала,

друг друга мы не знали до сих пор.
Мы молча грелись у костра сначала,
не сразу завязался разговор.
Но были мы ровесники — все трое,
всю жизнь свою мечтали об одном.
Один, в тридцатом Тракторный построив,
оборонял его в сорок втором.
Другой, надвинув шапку на седины,
сказал, что ровно десять лет назад
в такие ж вьюги он водил машины
по Ладоге в голодный Ленинград.

Мы даже детство вспомнили — все трое:
гражданскую, воззвания Помгола
и первый свет — он хлынул с Волховстроя
и прямо в юность,
прямо в зданье школы!

Потом, оставив младшим братьям парты,
мы вышли в жизнь, к труду,
и перед нами
родной земли распахнутая карта
сверкнула разноцветными огнями.

Потом страна, от взрослых до ребенка,
с волнением следила за рождением
бетонной днепрогэсовской гребенки...
Она была эмблемой поколенья!

Потом пылал Мадрид.
К нему на помощь в бури
шел караван советский напролом,
и голосом Долорес Ибаррури
Испания твердила: «Мы пройдем!»
...За нами были войны, труд, утраты,
судьбы неоднократный перелом;
мы знали День Победы в сорок пятом
и ждали моря в пятьдесят втором.
Причал простерся над земною сушей,

под ним мела поземка злей и злей,
но, как живой — как мы,-
 он чуял душу
издалека идущих кораблей.

Они придут — мы знали срок прихода.
Их высоко над миром вознесут,
поднимут на себе донские воды
и волжскому простору отдадут.
И мы глаза невольно поднимали
с земли, со дна, где снег летел, пыля,
как будто б днище и огни видали
идущего над нами корабля...
Вот он проходит над судьбою нашей...
Рожденный нами!
 Доброго пути!

Тебе к Москве,
 из водной чаши в чашу,
сквозь арки триумфальные идти.
Держи спокойно небывалый путь!
На каждом шлюзе, у любых причалов
будь горд и светел, но не позабудь
о рядовых строителях канала...

А Дон качался близ насосных башен,
за плотною бетонною стеной.
Он подошел, он ждал —
 в морскую чашу
скорей ударить первою волной.
И — берег моря — дыбилась плотина,
огромная, как часть самой Земли.
Гряда холмов суровые вершины
вздымала и терялась вдали,
там, где сквозь мглу, заметная с причала,
как врезанная в небо навсегда,
над лучшим экскаватором мерцала
тяжелая багровая звезда.

Плотина будет тверже, чем гранит:
она навеки море сохранит.
Тут вся земля испытана на сдвиг
не только в тишине лабораторий —
всей тяжестью страданий и любви,
неумолимой поступью Истории.
И камень выбран. В разных образцах
его пытали холодом и зноем
и выбрали надежный, как сердца,
испытанные и трудом, и боем.
Не сдвинутся, не дрогнут берега,
навек воздвигнутые на равнине,
но примут море, сберегут снега,
снега степей, бессмертные отныне.

А на плотине возвышалось зданье
легчайшее, из белых кирпичей.
Шло от него жемчужное сиянье,
туман пронзая сотнями лучей.
Туман, туман светящийся, морозный,
костры и снег, столпившийся народ,
земля в холмах,
хребет плотины грозный,
звезда вдали, и возглас:
«Дон идет!»

И вздрогнул свет, чуть изменив оттенок...
Мы замерли — мотор уже включен!
За водосбросом, за бетонной стенкой
всхрапнул и вдруг пошевелился Дон.

И ключьями, вся в пене, ледяная,
всей силой человеческой сильна,
с высокой башни ринулась донская —
в дорогу к Волге — первая волна.

...Я испытала многие невзгоды.
Судьбе прощаю все, а не одну -

за ночь,
когда я приняла с народом
от Дона к Волге первую волну...

От Дона к Волге первая волна —
как нелегко досталась нам она...

И странно было знать, что — пусть не рядом,
но там, где бьет Атлантики волна,—
холодным, пристальным, змеиным взглядом
следит за этим вечером война.
И видит всё, во что вложили души...
И это зданье, этот водоем
она уже наметила — разрушить,
как Тракторный тогда,
в сорок втором.

Но мы — мы тоже помним эти годы.
Мы помним — в сорок третьем, в феврале,
на этой же недрогнувшей земле,
здесь, где мы встретили донские воды,
где море, точно памятник, встает
над кровью воинов —
над рубежами славы,—
здесь был навеки перебит хребет
фашистской бронированной державы.

Пусть ни на миг об этом не забудет
тот, кто грозит, что война близка.
У нас развалин на земле не будет.
Мы строим прочно. Строим на века.

Апрель 1952

ИЗ ` ПИСЕМ С ДОРОГИ `

1

Темный вечер легчайшей метелью увит,
волго-донская степь беспощадно бела...
Вот когда я хочу говорить о любви,
о бесстрашной, сжигающей душу дотла.

Я ее, как сейчас, никогда не звала.

Отыщи меня в этой февральской степи,
в дебрях взрытой земли, между свай эстакады.
Если трудно со мной - ничего, потерпи.
Я сама-то себе временами не рада.

Что мне делать, скажи, если сердце мое
обвивает, глубоко впиваясь, колючка,
и дозорная вышка над нею встает,
и о штык часового терзаются низкие тучи?
Так упрямо смотрю я в заветную даль,
так хочу разглядеть я далекое, милое
солнце...

Кровь и соль на глазах!

Я смотрю на него сквозь большую печаль,
сквозь колючую мглу,
сквозь судьбу волгодонца...

Я хочу, чтоб хоть миг постоял ты со мной
у ночного костра - он огромный,
трескучий и жаркий,
где строители греются тесной гурьбой
и в огонь неподвижные смотрят овчарки.
Нет, не дома, не возле ручного огня,
только здесь я хочу говорить о любви.
Если помнишь меня, если понял меня,
если любишь меня - позови, позови!
Ожидаю тебя так, как моря в степи

ждет ему воздвигающий берега
в ночь, когда окаянная вьюга свистит,
и смерзаются губы, и душат снега;
в ночь, когда костенеет от стужи земля,-
ни костры, ни железо ее не берут.
Ненавидя ее, ни о чем не моля,
как любовь, беспощадным становится труд.
Здесь пройдет, озаряя пустыню, волна.
Это всё про любовь. Это только она.

1952

2

О, как я от сердца тебя отрывала!
Любовь свою - не было чище и лучше -
сперва волго-донским степям отдавала...
Клочок за клочком повисал на колючках.
Полыню, полыню горчайшею веет
над шлюзами, над раскаленной землею...
Нет запаха бедственнее и древнее,
и только любовь, как конвойный, со мною.
Нас жизнь разводила по разным дорогам.
Ты умный, ты добрый, я верю донине.
Но ты этой жесткой земли не потрогал,
и ты не вдыхал этот запах полыни.
А я неустанно вбирала дыханьем
тот запах полынный, то горе людское,
и стало оно, безысходно простое,
глубинным и горьким моим достояньем.

...Полыню, полыню бессмертную веет
от шлюзов бетонных до нашего дома...
Ну как же могу я, ну как же я смею,
вернувшись, "люблю" не сказать по-другому!

1952, 1960

ИЗ БЛОКНОТА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят...
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят...
...Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была.

ИЗМЕНА

Не наяву, но во сне, во сне
я увидала тебя: ты жив.
Ты вынес все и пришел ко мне,
пересек последние рубежи.

Ты был землею уже, золой,
славой и казнью моею был.
Но, смерти назло
 и жизни назло,
ты встал из тысяч
 своих могил.

Ты шел сквозь битвы, Майданек, ад,
сквозь печи, пьяные от огня,
сквозь смерть свою ты шел в Ленинград,
дошел, потому что любил меня.

Ты дом нашел мой, а я живу
не в нашем доме теперь, в другом,
и новый муж у меня — наяву...
О, как ты не догадался о нем?!

Хозяином переступил порог,

гордым и радостным встал, любя.
А я бормочу: «Да воскреснет бог»,
а я закрепощиваю тебя
крестом неверующих, крестом
отчаянья, где не видать ни зги,
которым закрепощен был каждый дом
в ту зиму, в ту зиму, как ты погиб...

О друг,— прости мне невольный стон:
давно не знаю, где явь, где сон ..

1946

ИСПЫТАНИЕ

1

...И снова хватит сил
увидеть и узнать,
как все, что ты любил,
начнет тебя терзать.
И оборотнем вдруг
предстанет пред тобой
и оклеветает друг,
и оттолкнет другой.
И станут искушать,
прикажут: «Отрекись!» —
и скорчится душа
от страха и тоски.
И снова хватит сил
одно твердить в ответ:
«Ото всего, чем жил,
не отрекаюсь, нет!»
И снова хватит сил,
запомнив эти дни,
всему, что ты любил,
кричать: «Вернись! Верни...»

Январь 1939, Камера 33

2

Дни проводила в диком молчании,
Зубы сцепив, охватив колени.
Сердце мое сторожило отчаянье,
Разум — безумия цепкие тени.

Друг мой, ты спросишь —
 как же я выжила,
Как не лишилась ума, души?
Голос твой милый все время слышала,
Его ничто
 не могло
 заглушить.

Ни стоны друзей озверевшей ночью,
Ни скрип дверей и ни лязг замка,
Ни тишина моей одиночки,
Ни грохот квадратного грузовика.

Все отошло, ничего не осталось,
Молодость, счастье — все равно.
Голос твой, полный любви и жалости,
Голос отчизны моей больной...

Он не шептал утешений без усталости,
Слов мне возвышенных не говорил —
Только одно мое имя русское,
Имя простое мое твердил...

И знала я, что еще жива я,
Что много жизни
 еще
 впереди,
Пока твой голос, моля, взывая,
Имя мое — на воле!— твердит...

Январь 1939, К[амера] 33

3

Как странно знать, что в городе одном
Почти что рядом мы с тобой живем...
Я знаю, как домой дойти: пятнадцать
Минут ходьбы, пять улиц миновать.
По лестнице на самый верх подняться
И в дверь условным стуком постучать.
Ты ждешь меня, возлюбленный! Я знаю,
Ты ждешь меня, тоскуя и любя...
Нет, я не виновата, что страдаю,
Что заставляю мучиться тебя!
О, только бы домой дойти! Сумею
Рубцы и язвы от тебя укрыть,
И даже сердце снова отопрею,
И даже верить буду и любить.
О, только бы домой дойти! Пятнадцать
Минут ходьбы. Пять улиц миновать.
По лестнице на самый верх подняться
И в дверь условным стуком постучать...

Январь 1939, Кам[ера] 33

4

Из края тьмы, бессмысленной и дикой,
В забытое земное бытие
Я душу увожу, как Эвридику,
Нельзя мне оглянуться на нее.
Шуршат изодранные покрывала,
Скользят босые слабые ступни...
Нет, — не глядеть, не знать, какой ты стала
За эти, смертью отнятые дни,
Нет,- если я условие нарушу
И обернусь к запретной стороне,—
Тогда навек я потеряю душу
И даже песни не помогут мне...

Май, [1939], Одиночка 9

5

Где жду я тебя, желанный сын?!
— В тюрьме, в тюрьме!
Ты точно далекий огонь, мой сын,
В пути, во тьме.
Вдали человеческое жильё,
Очаг тепла.
И мать пеленает дитя свое,
Лицом светла.
Не я ли это, желанный сын,
С тобой, с тобой?
Когда мы вернемся, желанный сын,
К себе домой?
Кругом пустынно, кругом темно,
И страх, и ложь,
И голубь пророчит за темным окном,
Что ты — умрешь...

Март 1939, Одиночка 17

6

Сестре

Мне старое снилось жилище,
где раннее детство прошло,
где сердце, как прежде, отыщет
приют, и любовь, и тепло.
Мне снилось, что святки, что елка,
что громко смеется сестра,
что искрятся нежно и колко
румяные окна с утра.

А вечером дарят подарки,
и сказками пахнет хвоя,

и звезд золотые огарки
над самую крышей стоят.

...Я знаю — убогим и ветхим
становится старый наш дом;
нагие унылые ветки
стучат за померкшим окном.

А в комнате с мебелью старой,
в обиде и тесноте,
живет одинокий, усталый,
покинутый нами отец...

Зачем же, зачем же мне снится
страна отгоревшей любви?
Мария, подруга, сестрица,
окликни меня, позови...

Март 1939

7. Воспоминание

Ночника зеленоватый свет,
Бабочка и жук на абажуре.
Вот и легче... Отступает бред.
Это мама около дежурит.

Вот уже нестрашно, снится лес,
пряничная, пестрая избушка...
Хорошо, что с горла снят компресс
и прохладной сделалась подушка.

Я сама не знаю — почему
мне из детства,
 мне издалека
льется в эту каменную мглу
только свет зеленый ночника.

Тихий, кроткий, милый, милый Свет,

ты не оставляй меня одну.
Ты свети в удушье, в горе, в бред —
может быть, поплачу и — усну...

И в ребячем свете ночника
мне приснится всё, что я люблю,
и родная мамина рука
снимет с горла белую петлю.

Апрель 1939, Одиночка 17

8. Малолетки на прогулке

Догоняя друг друга,
В желто-серых отрепьях,
Ходят дети по кругу
Мимо голых деревьев.

Точно малые звери,
Лисенята в темнице,..
О, туман желто-серый
На ребяческих лицах!

Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма...

Люди милые, хватит!
Матерей не казнят!
Вы хоть к этим ребятам
Подпустите меня.

Апрель 1939, Арсеналка, Больница

9. Желание

Кораблик сделала бы я
из сердца своего.

По темным ладожским волнам
пустила бы его.
Волна вечерняя, шуми,
неси кораблик вдаль.
Ему не страшно в темноте,
ему себя не жаль.
И маленький бы самолет
из сердца сделать мне,
и бросить вверх его, чтоб он
кружился в вышине.
Лети, свободный самолет,
блести своим крылом,
тебе не страшно в вышине,
в сиянии родном...
А я в тюрьме останусь жить,
не помня ничего,
и будет мне легко-легко
без сердца моего.

Май 1939, Одиночка 29

10

Костер пылает. До рассвета
угрюмый ельник озарен.
Туман и полночь, рядом где-то
томится песня-полусон...
Как мы зашли сюда? Не знаю.
Мы вместе будем до утра.
Июнь, туман, костер пылает,
звенит и плачет мошкара.
Я говорю:
 «Теперь, как жажда,
во мне желание одно:
таким костром сгореть однажды
в лесу, где сыро и темно.
Я жалобой не нарушу
судьбу горящую свою:
пусть у костра погреют души

и песнь отрадную споют...»

Июнь 1939

11. Просьба

Нет, ни слез, ни сожалений —
ничего не надо ждать.
Только б спать без сновидений
долго, долго, долго спать.
А уж коль не дремлет мука,
бередит и гонит кровь —
пусть не снится мне разлука,
наша горькая любовь.
Сон про встречу, про отраду
пусть минует стороной.
Даже ты не снись, не надо,
мой единственный, родной...
Пусть с березками болотце
мне приснится иногда.
В срубе темного колодца
одинокая звезда...

Июнь 1939

12. Маргарите Коршуновой

Когда испытание злое
сомкнулось на жизни кольцом,
мне встретилась женщина-воин
с упрямым и скорбным лицом.

Не слава ее оевала,
но гнев, клевета и печаль.
И снят был ремень, и отняли
ее боевую медаль.

Была в ней такая суровость,
и нежность, и простота,

что сердце согрела мне снова
бессмертная наша мечта.

Никто никогда не узнает,
о чем говорили мы с ней.
Но видеть хочу, умирая,
ее у постели моей.
Пусть в очи померкшие глянет,

сурова, нежна и проста.
Пусть Ангелом Смерти предстанет
бессмертная наша Мечта.

Июнь 1939

К ПЕСНЕ

Очнись, как хочешь, но очнись во
мне –
в холодной, онемевшей глубине.

Я не мечтаю – вымолить слова.
Но дай мне знак, что ты еще жива.

Я не прошу надолго – хоть на миг.
Хотя б не стих, а только вздох и
крик.

Хотя бы шепот только или стон.
Хотя б цепей твоих негромкий звон.

1951

* * *

Как много пережито в эти лета
любви и горя, счастья и утрат...
Свистя, обратно падал на планету
мешком обледеневшим стратостат.

А перебитое крыло косое
огромного, как слава, самолета,
а лодка, павшая на дно морское,
краса орденоносного Балтфлота?

Но даже скорбь, смущаясь,
отступала
и вечность нам приоткрывалась
даже,
когда невнятно смерть повествовала
—
как погибали наши экипажи.

Они держали руку на приборах,
хранящих стратосферы откровенья,
и успевали выключить моторы,
чтобы земные убереечь селенья.

Так велика любовь была и память,
в смертельную минуту не померкнув,

у них о нас, — что мы как будто
сами,
как и они, становимся бессмертны.

1935

Как на озерном хуторе
с Крещенья ждут меня —
стреножены, запутаны
ноги у коня...

Там вызорили яро
в киноварь дугу
и пращурный, угарный
бубенчик берегут...

Встречали неустанно
под снежный синий порск,
а я от полустанка
за сотню лет и верст...

Встречали, да не встретили,
гадали — почему?
...Полночный полоз метил
обратную кайму...

И пел полночный полоз
сосновой стороной,

как в тот же вечер голос —
далекий голос мой:

«Ты девять раз еще — назад
вернешься, не взглянув
сквозь финские мои глаза
в иную глубину...

Вернись, забыть готовый,
и пути перережь,
пусть конские подковы
дичают в пустыре...

И киноварь не порти зря,
и в омут выкинь бубенец —
на омутах,
на пустырях
моя судьба
и мой конец...»

1927 или 1928

* * *

Какая темная зима,
какие долгие метели!
Проглянет солнце еле-еле —
и снова ночь, и снова тьма...

Какая в сердце немота,
ни звука в нем, ни стоны даже...
Услышит смерть – и то не скажет.
И кто б ответил? Пустота...
О нет, не та зима, не та...

И даже нежности твоей
возврат неожиданный и летучий,
зачем он мне? Как эти тучи:
под ними жизнь еще темней,
а мне уже не стать певучей.

Но разве же не я сама
себе предсказывала это,
что вот придет совсем без света,
совсем без радости зима?..

1949

*** * ***

Когда ж ты запоешь, когда
откроешь крылья перед всеми?
О, возмести хоть миг труда
в глухонемое наше время!
Я так молю – спеша, скорбя,
молю невнятно, немо, глухо...
Я так боюсь забыть тебя
под непрерывной пыткой духа.
Чем хочешь отомсти: тюрьмой,

безмолвием, подобным казни,
но дай хоть раз тебя — самой,
одной —

прослушать без боязни.

.

1951

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДРУГУ

Сосны чуть качаются
мачты корабельные.
Бродит, озирается
песня колыбельная.

Во белых снежках,
в валеных сапожках,
шубка пестрая,
ушки острые:
слышит снега шепоток,
слышит сердца ропоток.

Бродит песенка в лесу,
держит лапки на весу.
В мягких варежках она,
в теплых, гарусных,
и шумит над ней сосна
черным парусом.

Вот подкралась песня к дому,
смотрит в комнату мою...
Хочешь, я тебе, большому,
хочешь, я тебе, чужому,
колыбельную спою?

Колыбельную...
Корабельную...

Тихо песенка войдет,
ласковая, строгая,
ушками поведет,
варежкой потрогает,

чтоб с отрадой ты вздохнул,
на руке моей уснул,
чтоб ни страшных снов,
чтоб не стало слов,
только снега шепоток,
только сердца бормоток...

1940

ЛАСТОЧКИ НАД ОБРЫВОМ

...О, домовитая ласточка,
О, милосизая птичка!

Г. Державин

1

Пришла к тому обрыву
судьбе взглянуть в глаза.
Вот здесь была счастливой
я много лет назад...

Морская даль синела,
и бронзов был закат.
Трава чуть-чуть свистела,
как много лет назад.

И так же пахло мятой,
и плакали стрижи...
Но чем свои утраты,
чем выкуплю – скажи?

Не выкупить, не вымолить
и снова не начать.
Проклятия не вымолвить.
Припомнить и – молчать.

Так тихо я сидела,
закрыв лицо платком,
что ласточка задела
плечо мое – крылом...

2

Стремясь с безумной высоты,
задела ласточка плечо мне.
А я подумала, что ты
рукой коснулся, что-то вспомнив.

И обернулась я к тебе,
забыв обиды и смятение,
прощая все своей судьбе
за легкое прикосновение.

3

Как обрадовалась я
твоему прикосновению,
ласточка, судьба моя,
трепет, дерзость, искушение!

Точно встала я с земли,
 снова миру улыбнулась.
Точно крылья проросли
там, где ты
 крылом коснулась.

1940

* * *

Ленинград - Сталинград - Волго-
Дон.

Незабвенные дни февраля...
Вот последний души перегон,
вновь открытая мной земля.

Нет, не так! Не земля, а судьба.
Не моя, а всего поколенья:
нарастающая борьба,
восходящее вдохновенье.

Всё, что думалось, чем жилось,
всё, что надо еще найти, -
точно в огненный жгут, сплелось
в этом новом моем пути.

Снег блокадный и снег степной,
сталинградский бессмертный снег;
весь в движении облик земной
и творец его - человек...

Пусть, грубы и жестки, слова
точно сваи причалов стоят, -
лишь бы только на них, жива,
опиралась правда твоя...

1952

ЛИСТОПАД

Осенью в Москве на
бульварах

вывешивают дощечки с
надписью

"Осторожно, листопад!"

Осень, осень! Над Москвою
Журавли, туман и дым.

Златосумрачной листвою
Загораются сады.

И дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:

"Осторожно, листопад!"

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!

Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.

Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?

Почему припоминаю:

"Осторожно, листопад"?

Ничего не нужно было, -
значит, нечего терять:

даже близким, даже милым,

даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
Невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь...
Нет – всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень
весь – сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
на прощание, как дождь.

...Я одна пойду к вокзалу,
проводатым откажу.
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
"Осторожно, листопад"...

1938

МАРШ ОЛОВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ

Эй, солдат, смелее в путь-дорожку!

Путь-дорожка огибает мир.
Все мы дети Оловянной Ложки,
и ведет нас Юный Командир.

Гремят наши пушки,
штыки блестят!
Хорошая игрушка,
дешевая игрушка —
коробочка солдат.

Командир моложе всех в квартире,
но храбрей не сыщешь молодца!
При таком хорошем командире
рады мы сражаться до конца.

Гремят наши пушки,
штыки блестят!
Отличная игрушка,
любимая игрушка —
коробочка солдат.

Всех врагов мы сломим понемножку,
все углы мы к вечеру займем,
и тогда об Оловянной Ложке
и о Командире мы споем.

Гремят наши пушки,
штыки блестят!

Первейшая игрушка,
храбрейшая игрушка —
коробочка солдат!

Осень 1940

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОСПЕКТ

Есть на земле Московская застава.
Ее от скучной площади Сенной
проспект пересекает, прям, как
слава,
и каменист, как всякий путь
земной.

Он столь широк, он полн такой
природной,
негородской свободой пути,
что назван в Октябре —
Международным:
здесь можно целым нациям пройти.

"И нет сомненья, что единым шагом,
с единым сердцем, под единым
флагом
по этой жесткой светлой мостовой
сойдемся мы на Праздник
мировой..."

Так верила, так пела, так взывала
эпоха наша, вся – девятый вал,
так улицы свои именовала
под буйный марш
"Интернационала"...
Так бог когда-то мир именовал.

А для меня ты – юность и тревога,
Международный, вечная мечта.
Моей тягчайшей зрелости дорога
и старости грядущей красота.
Здесь на моих глазах росли массивы
Большого Ленинграда.

Он мужал
воистину большой, совсем красивый,
уже огни по окнам зажигал!
А мы в ряды сажали тополя,
люди комсомольский,
дерзкий и голодный.
Как хорошела пустырей земля!
Как плечи расправлял
Международный!
Он воплощал все зримей нашу
веру...
И вдруг, с размаху, сорок первый
год, –
и каждый дом уже не дом, а дот,

и – фронт Международный в сорок первом.

И снова мы пришли сюда...

Иная

была работа: мы здесь рыли рвы
и трепетали за судьбу Москвы,
о собственных терзаннях забывая.

...Но этот свист, ночной сирены
стоны,
и воздух, пойманный горящим
ртом...

Как хрупки ленинградские колонны!
Мы до сих пор не ведали о том.

...В ту зиму по фронтам меня
носило, –
по улицам, где не видать ни зги.
Но мне фонарь дала "Электросила",
а на "Победе" сшили сапоги.

(Фонарь – пожалуй, громко, так,
фонарик –
в моей ладони умещался весь.
Жужжал, как мирною весной комарик,

но лучик слал – всей тьме
наперевес...)

А в госпиталях, где стихи читала
я с горсткою поэтов и чтецов,
овацией безмолвной нам бывало
по малой дольке хлеба от бойцов...
О, да не будет встреч подобных
снова!

Но пусть на нашей певческой земле
да будет хлеб – как Творчество и
Слово
и Слово наше – как в блокаду хлеб.

Я вновь и вновь твоей святой
гордыне
кладу торжественный земной поклон,
не превзойденный в подвиге донине
и видный миру с четырех сторон.

.
. .

Пришла Победа...

И ее солдат,
ее Правофланговый – Ленинград,
он возрождает свой Международный
трудом всеобщим,

тяжким,
благородным.

И на земле ничейной... да, ничья!
Ни зверья, и не птичья, не моя,
и не полынная, и не ржаная,
и все-таки моя, - одна, родная;
там, где во младости сажали
тополя,
земля - из дикой ржавчины земля, -
там, где мы не достроили когда-то,
где, умирая, корчились солдаты,
где почва топкая от слез вдовиц,
где что ни шаг, то Славе падать
ниц, -
здесь, где пришлось весь мрак и
свет изведать,
среди руин, траншеи закидав,
здесь мы закладывали Парк Победы
во имя горького ее труда.
Все было сызнава, и вновь на
пустыре,
и все на той же розовой заре,
на юношеской,
 зябкой и дрожащей;
и вновь из пепла вставшие дома,
и взлеты вдохновенья и ума,
и новых роц младенческие чащи...

Семнадцать лет над миром протекло
с поры закладки, с памятного года.

Наш Парк шумит могуче и светло, –
Победою рожденная природа.
Приходят старцы под его листву –
те, что в тридцатых были молодыми.
и матери с младенцами своими
доверчиво садятся на траву
и кормят грудью их...

И семя тополей –
летучий пух – им покрывает
груди...

И веет ветер зреющих полей,
и тихо, молча торжествуют люди...

И я доньше верить не устала
и буду верить – с белой головой,
что этой жесткой светлой мостовой,
под грозный марш "Интернационала"
сойдемся мы на Праздник мировой.

Мы вспомним всё: блокады, мрак и
беды,
за мир и радость трудные бои, –
и вечером над нами Парк Победы
расправит ветви мощные свои...

1956-1963

МОЙ ДОМ

А в доме, где жила я много лет,
откуда я ушла зимой блокадной,
по вечерам опять в окошках свет.
Он розоватый, праздничный,
нарядный.

Взглянув на бывших три моих окна,
я вспоминаю: здесь была война.
О, как мы затемнялись! Ни луча...
И все темнело, все темнело в
мире...

Потом хозяин в дверь не постучал,
как будто путь забыл к своей
квартире.
Где до сих пор беспомыслен он,
какой последней кровлей осенен?

Нет, я не знаю, кто живет теперь
в тех комнатах, где жили мы с
тобою,
кто вечером стучится в ту же
дверь,
кто синеватых не сменил обоев –
тех самых, выбранных давным-
давно...
Я их узнала с улицы в окно.

Но этих окон праздничный уют
такой забытый свет в сознание
будит,
что верится: там добрые живут,
хорошие, приветливые люди.

Там даже дети маленькие есть
и кто-то юный и всегда влюбленный,
и только очень радостную весть
сюда теперь приносят почтальоны.
И только очень верные друзья
сюда на праздник сходятся
шумливый.

Я так хочу, чтоб кто-то был
счастливым
там, где безмерно бедствовала я.

Владейте всем, что не досталось
мне,
и всем, что мною отдано войне...

Но если вдруг такой наступит день
—
тишайший снег и сумерек мерцанье,
и станет жечь, нагнав меня везде,
блаженное одно воспоминанье,

и я не справлюсь с ним и,
постучав,
приду в мой дом и встану на
пороге,
спрошу... Ну, там спрошу: "Который
час?"
или: "Воды", как на войне в
дороге, -
то вы приход не осуждайте мой,
ответьте мне доверьем и участием:
ведь я пришла сюда к себе домой
и помню все и верю в наше
счастье...

1946

МОЛОДОСТЬ

...Вот когда я тебя воспою,
назову дорогою подругою,
юность канувшую мою,
быстроногую, тонкорукую.
О заставских черемух плен,
комсомольский райком в палисаде,
звон гитар у кладбищенских стен,
по кустарникам звезды в засаде!
Не уйти, не раздать, не избыть

ЭТОТ ГНЕТ МОЛОДОГО ТОМЛЕНЬЯ,
ЭТО ГРОЗНОЕ ЧУВСТВО СУДЬБЫ,
ТАК ПОХОЖЕЕ НА ВДОХНОВЕНЬЕ.
ТЫ МЕРЕЩИЛАСЬ ВСЮДУ, СУДЬБА:
В ПОРЫЖЕЛОМ ВОЕННОМ ПЛАКАТЕ,
В БУРНОМ, ВЗРЫВЧАТОМ СЛОВЕ
«БОРЬБА»,
В ОДИНОЧЕСТВЕ НА ЗАКАТЕ.
КАК ПУШИСТЫ ВЕСНОЙ ТОПОЛЯ,
КАК БЕССОННИЦЫ НЕОДОЛИМЫ,
КАК БЛИЗКА НА РАССВЕТЕ ЗЕМЛЯ,
А ДРУЗЬЯ ДАЛЕКИ И ЛЮБИМЫ.
А ЛЮБОВЬ? КАК ВОЗДУХ И СВЕТ,
КАК ДЫХАНИЕ — ВСЮДУ С ТОБОЮ,
НЕТ КОНЦА ЕЙ, ВЫХОДА НЕТ, —
О КРЫЛО ЕЕ ГОЛУБОЕ!
ВОТ КОГДА Я ТЕБЯ ВОСПОЮ,
НАЗОВУ ДОРОГОЮ ПОДРУГОЮ,
ЮНОСТЬ КАНУВШУЮ МОЮ,
БЫСТРОНОГУЮ, ТОНКОРУКУЮ...

1940

* * *

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной – с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, –
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит –
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя – я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему – одно.

Июнь 1941

НА ИВАНА-ПЬЮЩЕГО

Во деревне у реки

в базарную гущу
выходили мужики
на Ивана-Пьющего.

Тут и гам, тут и гик,
тут летают локти,
тут и пели сапоги,
мазанные дегтем.

Угощались мужики,
деликатно крякали,
растеряли все кульки,
гостинцы и пряники:

А базар не в уголке,
его распирало,
он потел, как на полке,
лоснился, как сало.

У бабонек под мышками
выцветала бязь.
Базар по лодыжку
втоптался в грязь.

Но девки шли павлинами,
желая поиграться
с агентами длинными
в пучках облигаций.

А пономарь названивал
с колокольни утлой,
малиновым заманивал
еще намедни утром.

Тальянки ж в лентах-красоте
наяривали пуще,
как вдруг завыло в высоте
над Иваном-Пьющим.

Делать было нечего,
базар взглянул туда:
там самолет кружился кречетом,
а на хвосте его — звезда!

И, слушая, как он поет,
базар, казалось, замер,
базар впивался в самолет
резвевшими глазами,
а тот белел со злости,
сияя как пожар...

...До горизонта — гостя
проводил базар.

1927

* * *

На собрание целый день сидела –
то голосовала, то лгала...
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?..
Долго с улицы не уходила –
только там сама собой была.
В подворотне – с дворником курила,
водку в забегаловке пила...
В той шарашке двое инвалидов
(в сорок третьем брали Красный
Бор)
рассказали о своих обидах, –
вот – был интересный разговор!
Мы припомнили между собою,
старый пепел в сердце шевеля:
штрафники идут в разведку боем –
прямо через минные поля!..
Кто-нибудь вернется награжденный,
остальные лягут здесь – тихи,
искупая кровью забубенной
все свои н е б ы в ш и е
грехи!
И соображая еле-еле,
я сказала в гневе, во хмелю:
"Как мне наши праведники надоели,
как я наших грешников люблю!"

<1948-1949 гг.>

НАДЕЖДА

Я все еще верю, что к жизни
вернусь, –
однажды на раннем рассвете
проснусь.
На раннем, на легком, в прозрачной
росе,
где каплями ветки унижены все,
и в чаше росянки стоит озерко,
и в нем отражается бег облаков,
и я, наклоняясь лицом молодым,
смотрю как на чудо на каплю воды,
и слезы восторга бегут, и легко,
и виден весь мир далеко-далеко...
Я все еще верю, что раннее утро,
знобя и сверкая, вернется опять
ко мне – обнищавшей,
безрадостно-
мудрой,
не смеющей радоваться и рыдать...
1949

* * *

...Врубелевский Демон год от
года
тускнеет, погасает, так как
он написан
бронзовыми красками, которые
трудно
удержать...

*Сообщение в
печати*

Не может быть, чтоб жили мы
напрасно!

Вот, обернувшись к юности, кричу:
«Ты с нами! Ты безумна! Ты
прекрасна!

Ты, горнему подобная лучу!»

.
. .

Так — далеко, в картинной галерее
—

тускнеет Демон, сброшенный с
высот.

И лишь зари обломок, не тускнея,
в его венце отверженном цветет.

И чем темнее бронзовые перья,
тем ярче свет невидимой зари,
как знак Мечты, Возмездья и
Доверья,

над взором несмирившимся горит...

1940

*** * ***

Не сына, не младшего брата —
тебя бы окликнуть, любя:
«Волчонок, волчонок, куда ты?
Я очень боюсь за тебя!»
Сама приручать не хотела
и правды сказать не могла.
На юность, на счастье, на
смелость,
на гордость тебя обрекла.
Мы так же росли и мужали.
Пусть ноет недавний рубец —
прекрасно, что ранняя жалость
не трогала наших сердец.
И вот зазвенела в тумане,
в холодном тумане струна.
Тебя искушает и манит
на встречу с бессмертьем война.

Прости, я кругом виновата —
горит и рыдает в груди;
«Волчонок, волчонок, куда ты?»
Но я не окликну. Иди.

1940

* * *

Не утаю от Тебя печали,
так же как радости не утаю.
Сердце свое раскрываю вначале,
как достоверную повесть Твою.

Не в монументах и не в обелисках,
не в застекленно-бетонных дворцах
—
Ты возникаешь невидимо, близко,
в древних и жадных наших сердцах.

Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

И я не таю от Тебя печали
и самого тайного не таю:
сердце свое раскрываю вначале,
как исповедную повесть Твою...

1937

* * *

И я не могу иначе...

Лютер

Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.

Как мы любили горько, грубо,
Как обманулись мы любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.

Как в духоте бессонных камер
И дни, и ночи напролет
Без слез, разбитыми губами
Твердили "Родина", "Народ".

И находили оправданья
Жестоким матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей

О дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпали
В открытых копиях Колымы!

А те, что вырвались случайно,
Осуждены еще страшней.
На малодушное молчанье,
На недоверие друзей.

И молча, только тайно плача,
Зачем-то жили мы опять,
Затем, что не могли иначе
Ни жить, ни плакать, ни дышать.

И ежедневно, ежечасно,
Трудясь, страшился тюрьмы,
Но не было людей бесстрашной
И горделивее, чем мы!

* * *

Нет, не наступит примирения
с твоею гибелью, поверь.
Рубеж безумья и прозренья
так часто чувствую теперь.
Мне всё знакомей, всё привычней
у края жизни быть одной,
где, точно столбик пограничный,
дощечка с траурной звездой.
Шуршанье листьев прошлогодних...
Смотрю и знаю: подхожу
к невидимому рубежу.

Страшнее сердцу — и свободней.
Еще мгновенье — и понятной
не только станет смерть твоя,
но вся бесцельность,
невозвратность,
неудержимость бытия.

...И вдруг разгневанная сила
отбрасывает с рубежа,
и только на могиле милой
цветы засохшие дрожат...

1937, март 1938

* * *

Ни до серебряной и ни до золотой,
всем ясно, я не доживу с тобой.
Зато у нас железная была —
по кромке смерти на войне прошла.
Всем золотым ее не уступлю:
всё так же, как в железную, люблю.

1949

* * *

Ничто не вернется.

 Всему предназначены
сроки.

Потянутся дни,

 в темноту и тоску
обрываясь,
как тянутся эти угрюмые, тяжкие
строки,
которые я от тебя почему-то
скрываю.

Но ты не пугайся. Я договор наш не
нарушу.

Не будет ни слез, ни вопросов,
 ни даже

упрека.

Я только крепче замкну
 опустевшую душу,
лучше пойму, что теперь
 навсегда

одинок.

Она беспощадней всего,

 недоверья отрав.

Но ты не пугайся,

 ведь ты же спокоен и
честен?

Узнаешь печали и радости
собственной славы,
совсем не похожей на славу
отверженных песен.

Я даже не буду
из дому теперь
отлучаться,
шататься по городу
в поисках света
людского.

Я всё потеряла -
к чему же за малость
цепляться.

Мне не во что верить,
а веры - не выдумать
снова.

Мы дачу найдем и украсим
как следует дачу -
плетеною мебелью,
легкой узорчатой
тканью.

О нет, ты не бойся.

Я так, как тогда, не
заплачу,
Уже невозможно - уже совершилось
прощанье..

Всё будет прекрасно,
поверь мне, всё будет
прекрасно,
на радость друзьям и на зависть
семействам
соседним.
И ты никогда не узнаешь,
что это – мертво и
напрасно...
Таков мой подарок тебе – за измену
последний!

1949

О ГОНЧАРАХ

Мне просто сквозная усмешка дана,
да финские камни – ступени к Неве,
приплытие гончаров, и весна,
и красная глина на синеве.

(Уж гиблые листья сжигают в садах,
и дым беловатый горчит на глаза –
о, скупость окраски, открыты когда
лишь сепия веток и бирюза...)

Звенящая глина тревожит меня,

и я приценяюсь к молочникам утлым.
Старик балагурит, горшки гомонят,
синеет с воды валаамское утро,

и чаек безродных сияет крыло
над лодкою — телом груженным и
длинным.

Почетно древнейшее ремесло —
суровая дружба с праматерью-
глиной...

С обрывов коричневых глину берут,
и топчут, и жгут, обливают
свинцом,
и диким узором обводят потом
земной, переполненный светом,
сосуд,

где хлебы затеют из теплой муки,
пока, почернев и потрескавшись в
меру,
он в землю не сложит свои черепки,
на ощупь отметив такую-то эру.

И время прольется над ним без
конца,
и ветрам сходиться, и тлеть
облакам,

и внуки рассудят о наших сердцах
по темным монетам и черепкам.

1927

*** * ***

О друг, я не думала, что тишина
Страшнее всего, что оставит война.

Так тихо, так тихо, что мысль о
войне
Как вопль, как рыдание в тишине.

Здесь люди, рыча, извиваясь,
ползли,
Здесь пенилась кровь на вершок от
земли...
Здесь тихо, так тихо, что мнится —
вовек
Сюда не придет ни один человек,
Ни пахарь, ни плотник и ни садовод
—
никто, никогда, никогда не придет.

Так тихо, так немо — не смерть и
не жизнь.

О, это суровее всех укоризн.

Не смерть и не жизнь — немота,
немота —
Отчаяние, стиснувшее уста.

Безмирно живущему мертвые мстят:
Все знают, все помнят, а сами
молчат.

1940, Финляндия

* * *

О, где ты запела,
откуда взманила,
откуда к жизни зовешь меня...
Склоняюсь перед твоею силой,
Трагедия, мать живого огня.

Огонь, и воду, и медные трубы
(о, медные трубы — прежде всего!)
я прохожу,
не сжимая губы,
страшное славя твое торжество.
Не ты ли сама
последние годы
по новым кругам вела и вела,
горчайшие в мире
волго-донские воды

из пригоршни полной испить дала...
О, не твои ли трубы рыдали
четыре ночи, четыре дня
с пятого марта в Колонном зале
над прахом, при жизни
кромсавшим меня...

Не ты ль —
чтоб твоим защитникам в
лица

я вновь заглянула —
меня загнала
в психиатрическую больницу,
и здесь, где горю ночами не
спится,
встала в рост,
и вновь позвала
на новый круг,
и опять за собой,
за нашей

совместной

народной судьбой.

Веди ж, я знаю — тебе подвластно
все существующее во мне.

Я знаю паденья, позор напрасный,
я слабой бывала, постыдной,
ужасной —

я никогда не бывала несчастной
в твоём сокрушающем ложь огне.

Веди ж, открывай, и рубцуй, и
радуй!

Прямо в глаза взгляни

и скажи:

«Ты погибала в заправду — как надо.
Так подобало. Да будет жизнь!»

31 января 1954

* * *

О, если б ясную, как пламя,
иную душу раздобыть.

Одной из лучших между вами,
друзья, прославиться, прожить.

Не для корысти и забавы,
не для тщеславия хочу
людской любви и верной славы,
подобной звездному лучу.

Звезда умрет — сиянье мчится
сквозь бездны душ, и лет, и тьмы, —
и скажет тот, кто вновь родится:
«Ее впервые видим мы».

Быть может, с дальним поколеньем,
жива, горда и хороша,

его труды и вдохновенья
переживает моя душа.

И вот тружусь и не скрываю:
о да, я лучшей быть хочу,
о да, любви людской желаю,
подобной звездному лучу.

1927, Невская застава

* * *

О, наверное, он не вернется,
волгарь и рыбак, мой муж!
О, наверное, разобьется
голубь с горькою вестью к нему..

Мать, останься, останься у двери
пойду его отыскать.
Только темным знаменьям верит
полночь — тело мое — тоска.

А если он возвратится,
из мира шагнет за порог —
вот платок зеленого ситца,
мой веселый девий платок.

Вот еще из рябины бусы,

передай и скажи: «Ушла!»
С головой непокрыто-русой,
босиком, глазами светла...

А если придет с другою,
молчи и не плачь, о мать.
Только ладанку с нашей землею
захвати и уйди сама.

Март — апрель 1927 или 1928

* * *

О, не оглядывайтесь назад,
на этот лед,
на эту тьму;
там жадно ждет вас
чей-то взгляд,
не сможете вы не ответить ему.

Вот я оглянулась сегодня... Вдруг
вижу: глядит на меня изо льда
живыми глазами живой мой друг,
единственный мой — навсегда,
навсегда.

А я и не знала, что это так.
Я думала, что дышу иным.

Но, казнь моя, радость моя, мечта,
жива я только под взглядом твоим!

Я только ему еще верна,
я только этим еще права:
для всех живущих – его жена,
для нас с тобою – твоя вдова.

1947

ОБЕЩАНИЕ

...Я недругов смертью своей не
утешу,
чтоб в лживых слезах захлебнуться
могли.

Не вбит еще крюк, на котором
повешусь.

Не скован. Не вырыт рудой из
земли.

Я встану над жизнью бездонной
своею,
над страхом ее, над железной
тоскою...

Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного
стою...

1952

ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

Тлеет ночь у купырей,
озерная,

теплая...

Ты не бойся, не жалея,
ежели ты около...

Не жалея, не грустя,
полюби, хороший мой,
чтобы скрипнули в локтях
рученьки заброшенные.

Только звезды по озерам
вымечут икру свою,
рыбаки пойдут дозором,
по осоке хрустнув...

Будут греться у огня,
у огня кострового,
будут рыбу догонять
темною острогою.

Бьется рыба о бока
лодки ладно слаженной,
горяча твоя рука,
от тумана влажная...

Только звезды по озерам
плавают в осочье,
да росы трясутся зерна
на осинах сочных...
Только белая слеза
накипает на глазах.

1927 или 1928

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО

Я говорю, держа на сердце руку,
так на присяге, может быть, стоят.
Я говорю с тобой перед разлукой,
страна моя, прекрасная моя.

Прозрачное, правдивейшее слово
ложится на безмолвные листы.
Как в юности, молюсь тебе сурово
и знаю: свет и радость – это ты.

Я до сих пор была твоим сознанием.
Я от тебя не скрыла ничего.
Я разделила все твои страданья,
как раньше разделяла торжество.

...Но ничего уже не страшно боле,
сквозь бред и смерть

сияет предо мной
твое ржаное дремлющее поле,
ущербной озаренное луной.

Еще я лес твой вижу
и на камне,
над безымянной речкою лесной,
заботливыми свернутый руками
немудрый черпачок берестяной.

Как знак добра и мирного общенья,
лежит черпак на камне у реки,
а вечер тих, не слышно струй
теченье,
и на траве мерцают светляки...

О, что мой страх,
что смерти неизбежность,
испепеляющий душевный зной
перед тобой – незыблемой,
безбрежной,
перед твоей вечерней тишиной?

Умру, – а ты останешься как раньше,
и не изменятся твои черты.
Над каждой твоею черной раной
лазоревые вырастут цветы.

И к дому ковыляющий калека
над безымянной речкою лесной
опять сплетет черпак берестяной
с любовной думою о человеке...

Сентябрь 1941

* * *

От сердца к сердцу.

Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.

.
.

Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье.

Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и
лед,

я говорю, как плоть твоя, народ,
по праву разделенного страданья...

И вот я становлюсь многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.

Но мне же суждено самой собой
остаться в разных обликах и душах,
и в чьем-то горе, в радости чужой

свой тайный стон и тайный шепот
слушать
и знать, что ничего не утаишь...
Все слышат всё, до скрытого
рыданья...
И друг придет с ненужным
состраданьем,
и посмеются недруги мои.

Пусть будет так. Я не могу иначе.
Не ты ли учишь, Родина, опять:
не брать, не ждать и не просить
подачек
за счастье творить и отдавать.

...И вновь я вижу все твои
приметы,
бессмертный твой, кровавый,
горький зной,
сорок второй, неистовое лето
и все живое, вставшее стеной
на бой со смертью...

Август 1946

ОТВЕТ (А Я ВАМ ГОВОРЮ, ЧТО НЕТ...)

А я вам говорю, что нет

напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной,
ее нетленно чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.

И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы – ни
слова,
ни стога бы не зачеркнуть.

1962

*** * ***

Откуда такое молчание?
О новый задуманный мир!
Ты наш, ты желанен, ты чаян,
Ты Сердца и Разума пир.

Откуда ж молчанье на пире?
И чаши с вином не стучат,

И струны безмолвны на лире,
И гости, потупясь, молчат.

1940, Финляндия

ОТРЫВОК (ДОСТИГШЕЙ НЕМОГО ОТЧАЯНЬЯ...)

Достигшей немого отчаянья,
давно не молящейся богу,
иконку "Благое Молчание"
мне мать подарила в дорогу.

И ангел Благого Молчания
ревниво меня охранял.
Он дважды меня не нечаянно
с пути повернул. Он знал...

Он знал, никакими созвучьями
увиденного не передать.
Молчание душу измучит мне,
и лжи заржавеет печать...

1952

ПЕСНЯ (МЫ БОЛЬШЕ НЕ УВИДИМСЯ...)

Мы больше не увидимся —
прощай, улыбнись...
Скажи, не в обиде ты

на быстрые дни?..

Прошли, прошли — не мимо ли,
как сквозняки по комнате,
как тростниковый стон...

...Не вспомнишь
 как любимую,
не вспомни — как знакомую,
а вспомни как сон...

Мои шальные песенки,
да косы на ветру,
к сеновалу лесенку,
дрожь поутру...

1927

ПЕСНЯ ДОЧЕРИ

Рыженькую и смешную
дочь баюкая свою,
я дремливую, ночную
колыбельную спую,

С парашютной ближней вышки
опустился наземь сон,
под окошками колышет
голубой небесный зонт.

Разгорелись в небе звезды,
лучики во все концы;
соколята бредят в гнездах,
а в скворечниках скворцы.

Звездной ночью, птичьей ночью
потихоньку брежу я:
«Кем ты будешь, дочка, дочка,
рыженькая ты моя?»

Будешь ты парашютисткой,
соколенком пролетать:
небо — низко, звезды — близко,
до зари рукой подать!

Над зеленым круглым миром
распахнется белый шелк,
скажет маршал Ворошилов:
«Вот спасибо, хорошо!»

Старый маршал Ворошилов
скажет: «Ладно, будем знать:
в главный бой тебя решил я
старшим соколом послать».

И придешь ты очень гордой,
крикнешь: «Мама, погляди!
Золотой красивый орден,

точно солнце, на груди...»

Сокол мой, парашютистка,
спи...

не хнычь...

время спать...

небо низко,
звезды близко,
до зари рукой подать...

Март 1936, Детское Село

ПОБРАТИМЫ

[Михаилу Светлову](#)

Мы шли Сталинградом, была тишина,
был вечер, был воздух морозный
кристален.

Высоко крещенская стыла луна
над стрелами строек, над щебнем
развалин.

Мы шли по каленой гвардейской
земле,
по набережной, озаренной луною,
когда перед нами в серебряной
мгле,

чернея, возник монумент

Хользунова.

Так вот он, земляк сталинградцев,
стоит,

участник воздушных боев за
Мадрид...

И вспомнилась песня как будто б о
нем,

о хлопце, солдате гражданской
войны,

о хлопце, под белогвардейским
огнем

мечтавшем о счастье далекой
страны.

Он пел, озирая
родные края:

"Гренада, Гренада,
Гренада моя!.. "

Но только, наверно, ошибся поэт:
тот хлопец – он белыми не был
убит.

Прошло девятнадцать немыслимых лет
–

он все-таки дрался за город
Мадрид.

И вот он – стоит к Сталинграду
лицом

и смотрит, бессмертный,
 сквозь годы,
 сквозь бури
туда, где на площади Павших Борцов
испанец лежит – лейтенант
Ибаррури.

Пасионарии сын и солдат,
он в сорок втором защищал
Сталинград,
он пел, умирая
за эти края:
Россия, Россия,
Россия моя... "

И смотрят друг другу в лицо – на
века –
два побратима, два земляка.

1952

*** * ***

Подбирают фомки и отмычки,
Чтоб живую душу отмыкать.
Страшно мне и больно с непривычки,
Не простить обиды, не понять.

Разве же я прятала, таила

Что-нибудь от мира и людей?
С тайным горем к людям выходила,
С самой тайной радостью своей.

Но правдивым — больше всех не
верят.

Вот и я теперь уже не та.

Что ж, взломайте...

За последней дверью
Горстка пепла, дым и пустота.

1940

ПОЛУНОЧНАЯ

Маятник шатается,
полночь настает,
в доме просыпается
весь ночной народ.

Что там зашуршало,
что там зашумело?
Мышка пробежала,
хвостиком задела...

(Никому не видные,
тихонькие днем,
твари безобидные,
ночью мы живем.)

Слышишь сухонький смычок
ти-ри-ри, ти-ри-ри?..
Это я пою, сверчок, —
тири-ри, тири-ри...
В темной щелочке сижу,
скрипку в лапочках держу...

Если вдруг бессонница
одолеет вас,
лишнее припомнится,
страшное подчас, —

слушай тихий скрип смычка —
тири-ри, тири-ри...
Слушай песенку сверчка —
ти-ри-ри, ти-ри-ри...

И тоску постылую
заглушит сверчок —
сны увидишь милые:
пряник и волчок.

Слушай, слушай скрип смычка
ти-ри-ри, ти-ри-ри...
Слушай песенку сверчка —
ти-ри-ри, ти-ри-ри, ..

Осень 1940

ПОЛЫНЬ

Но сжала рот упрямо я,
замкнула все слова.
Полынь, полынь, трава моя,
цвела моя трава.

Все не могли проститься мы,
все утаили мы.
Ты взял платок мой ситцевый,
сорвал кусок каймы...

Зачем платок мой порванный,
что сделал ты с каймой?..
Зачем мне сердце торное
от поступи земной?..

Зачем мне милые слова
от нелюбых – чужих?..
Полынь, полынь, моя трава,
на всех путях лежит...

Июнь 1928

ПОРУКА

У нас еще с три короба разлуки,
ночных перронов,

дальних поездов.
Но, как друзья, берут нас на
поруки
Республика, работа и любовь.
У нас еще – не перемерить –
горя...
И все-таки не пропадет любой:
ручаются,
с тоской и горем споря,
Республика, работа и любовь.
Прекрасна жизнь,
и мир ничуть не
страшен,
и если надо только – вновья и вновья
мы отдадим всю молодость –
за нашу
Республику, работу и любовь.

1933

ПОСВЯЩЕНИЕ (ПОЗВОЛЬ МНЕ КАК ДРУГУ...)

Позволь мне как другу – не ворогу
руками беду развести.
Позволь мне с четыре короба
сегодня тебе наплести.

Ты должен поверить напраслинам

на горе, на мир, на себя,
затем что я молодость праздную,
затем что люблю тебя.

1927 или 1928

Потеряла я вечером слово,
что придумала для тебя.
Начинала снова и снова
эту песнь — сердясь, любя...
И уснула в слезах, не веря,
что увижу к утру во сне,
как найдешь ты мою потерю,
начиная песнь обо мне.

Март — апрель 1927 или 1928

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Нет, я не знаю, как придется
тебя на битву провожать,
как вдруг дыханье оборвется,
как за конем твоим бежать...
И где придется нам проститься,
где мы расстанемся с тобой:
на перепутье в поле чистом
иль у заставы городской?
Сигнал ли огненный взовьется,

иль просто скажет командир:
«Пора, пускай жена вернется.
Пора, простись и уходи...»
Но в ту минуту сердце станет
простым и чистым, как стекло.
И в очи Родина заглянет
спокойно, строго и светло.
И в ней, готовой к муке боя,
как никогда, почуем вновь
нас окрылявшую обоих
единую свою любовь.
И снова станет сердце чистым,
разлука страшная легка...
И разгласит труба горниста
победу твоего полка.

1936

ПРИЗЫВНАЯ

Песенкой надрывною
очертивши темя,
гуляли призывники
остатнее время.

Мальчишечки русые —
все на подбор,
почти что безусые...

Веселый разговор!..

Дни шатались бандами,
нарочно напылив,
украшены бантами
тальянки были их.

Дышали самогонкой,
ревели они:
«Прощай, моя девчонка,
остатние дни!»

Им было весело,
таким молодым,
кто-то уж привесил
жестянку звезды...

Мальчишечки русые
шли в набор,
почти что безусые...
Веселый разговор!..

1927 или 1928

ПРИЯТЕЛЯМ

Мы прощаемся, мы наготове,
мы разъедемся кто куда.
Нет, не вспомнит на добром слове

обо мне никто, никогда.

Сколько раз посмеетесь, сколько
оклеветаете, не ценя,
за веселую скороговорку,
за упрямство мое меня?

Не потретила — что ж, простите,
обращаюсь сразу ко всем.
Что ж, попробуйте разлюбите,
позабудьте меня совсем.

Я исхода не предрекаю,
я не жалуясь, не горжусь...
Я ведь знаю, что я — такая,
одному в подруги гожусь.

Он один меня не осудит,
как любой и лучший из вас,
на мгновение не забудет,
под угрозами не предаст.

...И когда зарастут дорожки,
где ходила с вами вдвоем,
я-то вспомню вас на хорошем,
на певучем слове своем.

Я-то знаю, кто вы такие, —

бережете сердца свои...
Дорогие мои, дорогие,
ненадежные вы мои...

1935, 1936

* * *

Прошло полгода молчанья
с тех пор, как стали клубиться
в жажде преображенья,
в горячей творящей мгле
твоих развалин оскалы,
твоих защитников лица,
легенды твои, которым
подобных нет на земле.

Прошло полгода молчанья
с тех пор, как мне стала
сниться
твоя свирепая круча —
не отвести лица!
Как трудно к тебе прорваться,
как трудно к тебе пробиться,
к тебе, которой вручила
всю жизнь свою — до конца.

Но, как сквозь терний колючий,

сквозь ложь, клевету, обиды,
к тебе — по любой дороге,
везде — у чужих и в дому,
в вагоне, где о тебе же
навзрыд поют инвалиды,
в труде, в обычной заботе
к сиянию твоему.

И только с чистейшим сердцем,
и только склонив
колени
тебе присягаю, как знамени,
целуя его края, —
Трагедия всех трагедий —
душа моего
поколенья,
единственная,
прекрасная,
большая душа моя.

Весна 1947

ПУСТЬ ГОЛОСУЮТ ДЕТИ

Я в госпитале мальчика видала.
При нем снаряд убил сестру и мать.
Ему ж по локоть руки оторвало.
А мальчику в то время было пять.

Он музыке учился, он старался.
Любил ловить зеленый круглый
мяч...

И вот лежал – и застонать боялся.
Он знал уже: в бою постыден плач.

Лежал тихонько на солдатской
койке,
обрубки рук вдоль тела протянув...
О, детская невысказанная стойкость!
Проклятье разжигавшим войну!

Проклятье тем, кто там, за
океаном,
за бомбовозом строит бомбовоз,
и ждет невыплаканных детских слез,
и детям мира вновь готовит раны.

О, сколько их, безногих и
безруких!
Как гулко в черствую кору земли,
не походя на все земные звуки,
стучат коротенькие костыли.

И я хочу, чтоб, не простив обиды,
везде, где люди защищают мир,
являлись маленькие инвалиды,
как равные с храбрейшими людьми.

Пусть ветеран, которому от роду
двенадцать лет,
 когда замрут вокруг,
за прочный мир,
 за счастье народов
подымет ввысь обрубки детских рук.

Пусть уличит истерзанное детство
тех, кто войну готовит, — навсегда,
чтоб некуда им больше было деться
от нашего грядущего суда.

1949

*** * ***

Путешествие. Путевка.
Изучение пути.
И на каждой остановке
так и хочется сойти!
В полдень еду, в полночь еду,
одинешенька-одна.
Только дым летит по следу,
только легкая весна.
И висит в окне вагона
безбилетная звезда.
Сквозь пустынные перроны
пробегают поезда.

Поезда меридианы
перешли наискосок,
бьются ложечки в стаканах,
точно кровь звенит в висок.
И бормочут вслух колеса,
и поют в любом купе,
и от самого откоса
золотая кружит степь.
Если просят – запеваю,
не попросят – помолчу.
Никого не вспоминаю
и открыток не строчу.
Не гуди ты, сердце злое,
ты свободно, ты одно.
Перестукнется с тобою
встречный поезд за окном.
Только поезд – мы не встретим
ни зазнобы, ни тоски.
Только марево да ветер,
зеленые огоньки...

1933

РАЗВЕДЧИК

Мы по дымящимся следам
три дня бежали за врагами.
Последний город виден нам,
оберегаемый садами.

Враг отступил.
Но если он
успел баллоны вскрыть,
как вены?

И вот разведчик снаряжен
очередной полдневной смены.
И это — я.
И я теперь
вступаю в город, ветра чище...
Я воздух нюхаю, как зверь
на человеческом пепелище.
И я успею лишь одно —
бежать путем сигнализаций:
«Заражено,
заражено»...

...И полк начнет приготавливаться.
Тогда спокойно лягу я,
конец войны почуя скорый...

.

А через час
войдут друзья
в последний зараженный город.

<1940>

РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Дарья Власьевна, соседка по
квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,
полтора ста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа ≈
наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба
≈
он почти не весит на руке...

Для того чтоб жить в кольце
блокады,
ежедневно смертный слышать свист ≈
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви...

Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»
≈ «Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь».

Дарья Власьевна, еще немного,
день придет ~ над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной...
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.

А тебе ~ да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом

ты идешь с кошелкою в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.

Этой силе имя есть ≈ Россия
Стой же и мужайся, как она!

РОДИНЕ

1

Все, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное
счастье, –

все вынесу и через все пройду.
Но не лишай доверья и участия.

Как будто вновь забьют тогда окно
щитом железным, сумрачным и
ржавым...

Вдруг в этом отчуждении неправом
наступит смерть – вдруг станет все
равно.

Октябрь 1939

2

Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.

Сквозь жалкое предательство
друзей.
Сквозь смерть моих возлюбленных
детей.

Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай – я больше не могу...

1939

3

Изранила и душу опалила,
лишила сна, почти свела с ума...
Не отнимай хоть песенную силу, –
не отнимай, – расквасишься сама!

Не отнимай, чтоб горестный и
славный
твой путь воспеть.
Чтоб хоть в немой
строке
мне говорить с тобой, как равной
с
равной, –

на вольном и жестоком языке!

Осень 1939

1939

РОМАНС

Брожу по городу и ною
безвестной песенки напев...
Вот здесь простились мы с тобою,
здесь оглянулись, не стерпев.

Здесь оглянулись, оступились,
почуяв веянье беды.
А город полн цветочной пыли,
и нежных листьев, и воды.

Я всё отдам – пускай смеются,
пускай расплата нелегка –
за то, чтоб снова оглянуться
на уходящего дружка!

1937

РОМАНС СТОЙКОГО ОЛОВЯННОГО СОЛДАТИКА

1

В синем сапоге,
на одной ноге,
я стою пред комнаткой твоей...
Буки не боюсь,
не пошелохнусь —
всюду помню о любви своей!

Пусть и град, и гром,
пусть беда кругом —
я таким событиям только рад.
Охватив ружье,
с песней про Нее —
крепче на ноге держись, солдат.

2

В синем сапоге,
на одной ноге,
под твоим окошечком стою.
Буки не боюсь,
не пошелохнусь,
охраняю милую мою.

Пусть беда кругом,
пусть и град, и гром —
никогда не отступай назад!
Охватив ружье,
с песней про Нее —

крепче на ноге держись, солдат!

Осень 1940

СЕВАСТОПОЛЬ

Белый город, синие заливы,
на высоких мачтах – огоньки...
Нет, я буду все-таки счастливой
многим неудачам вопреки.

Ни потери, ни тоска, ни горе
с милою землей не разлучат,
где такое трепетное море
кропотливо трудится, ворча,
где орлы и планеры летают,
где любому камешку – сиять,
где ничто-ничто не исчезает
и не возвращается опять.

1935

* * *

Сегодня вновь растрачено души
на сотни лет,

на тьмы и тьмы

ничтожеств...

Хотя бы часть ее в ночной тиши,

как пепел в горсть, собрать в
стихи...

И что же?

Уже не вспомнить и не повторить
высоких дум, стремительных и
чистых,

которыми посмела одарить

лжецов неверующих и речистых.

И щедрой доброте не просиять,
не озарить души потайным светом;
я умудрилась всю ее отдать
жестоким, не нуждающимся в этом.

Всё роздано: влачащимся – полет,
трусливым и безгласным –
дерзновенье,

и тем, кто всех глумливей осмеет, –
глубинный жемчуг сердца –
умиление.

Как нищенка, перед столом стою.

Как мать, дитя родившая до срока.

А завтра вновь иду и отдаю
всё, что осталось, не приняв
урока.

А может быть – мечты заветней
нет, –

вдруг чье-то сердце просто и
открыто
такую искру высечет в ответ,
что будут все утраты позабыты?

1949

* * *

Сейчас тебе всё кажется тобой:
и треугольный парус на заливе,
и стриж над пропастью,
и стих чужой,
и след звезды,
упавшей торопливо.
Всё — о тебе, всё — вызов и намек.
Так полон ты самим собою,
так рад, что ты, как парус,
одинок,
и так жесток к друзьям своим
порою.
О, пусть продлится время
волшебства.
Тебе докажет мир неотвратимо,
что ты — лишь ты, без сходства,
без родства,
что одиночество — невыносимо.

1940

СЛЕПОЙ

Вот ругань плавает, как жир,
пьяна и самовита.

Висят над нею этажи,
гудят под нею плиты,
и рынок плещется густой,
как борщ густой и пышный,
а на углу сидит слепой,
он важен и напыщен.

Лицо рябее решета,
в прорехи брезжит тело.

А на коленях отперта
слепая книга смело.

А женщины сомкнули круг,
все в горестях, в поту,
следят за пляской тощих рук
по бледному листу.

За потный рыжий пяточок,
за скудный этот звон
судьбу любой из них прочтет
по мягкой книге он.

И каждая уйдет горда
слепым его ответом...

Но сам гадалец не видал
ни женщин и ни света...

Всё смысла темная вода...

К горстям бутылка льнет,
и влага скользкая тогда
качает и поет.
И видит он тогда, что свет
краснеет густо, вязко,
что линий не было и нет,
и нет иной окраски...
И вот когда он для себя
на ощупь ждет пророчеств,
гнусаво матерясь, скорбя,
лист за листом ворочая.
Но предсказанья ни к чему,
и некому сказать,
что смерть одна вернет ему
небывшие глаза.

1927 или 1928

* * *

Словно строфы — недели и дни в
Ленинграде,
мне заглавья запомнить хотя б:
«Прибыл крымский мускат...»
На исходе пучки виноградин,
винный запах антоновок сытит
октябрь.

Это строфы элегий,
желтеющих в библиотеках,

оппадающих с выступов перистых од:
«Льды идут на Кронштадт,
промерзают сибирские реки,
ледоколы готовятся в зимний
поход».

.
.

Но такие горячие строки доверить
кому нам?

Только руку протянешь —
обуглится, скорчится —
шрам...

Говорю о стихе
однодневной Кантонской
коммуны,
на газетах распластанной по
вечерам.

Но сначала — Кантон. И народ, и
кумач на просторе;
после РОСТА рыдающая на столбах.
А потом, леденя, в почерневшем
свинцовом наборе
отливаются петли, и раны, и храп
на губах.

А потом — митингуют, и двор
заводской поднимает

на плечах, на бровях,
на мурашках ознобленных рук —
рис, и мясо, и кровли повстанцам
Китая,
и протесты,
железом запахшие вдруг...

Декабрь 1927

СПОР

Загорается сыр-бор
не от засухи — от слова.
Веселый разговор
в полночи выходит снова:

«Ты скажи, скажи, скажи,
не переламявая рук:
с кем ты поделила жизнь
полукруг на полукруг?»

«Ты ответь, ответь, ответь,
голосу не изменя:
с кем ты повстречаешь смерть
без любимой — без меня?»

Сыру-бору нет конца,
горечь поплыла к заре,
и вот уж нет у нас лица,

друг другу не во что смотреть.

Надо, надо, надо знать:
нас не двое на земле —
нам со всеми умирать
и со всеми веселеть...

Холодеет горький бор
не от ливня, но ответа.
Веселый разговор
исходит до рассвета.

1927 или 1928

СТИХИ О ЛЕНИНГРАДСКИХ БОЛЬШЕВИКАХ

Нет в стране такой далекой дали,
не найдешь такого уголка,
где бы не любили, где б не знали
ленинградского большевика.

В этом имени — осенний Смольный,
Балтика, "Аврора", Петроград.
Это имя той железной воли,
о которой гимном говорят.

В этом имени бессмертен Ленин
и прославлен город на века,
город, воспринявший облик гневный
ленинградского большевика.

Вот опять земля к сынам воззвала,
крикнула: "Вперед, большевики!"
Страдный путь к победе указала
Ленинским движением руки.

И, верны уставу, как присяге,
вышли первыми они на бой,
те же, те же смольнинские стяги
высоко подняв над головой.

Там они, где ближе гибель рыщет,
всюду, где угроза велика.
Не щадить себя – таков обычай
ленинградского большевика.

И идут, в огонь идут за ними,
все идут – от взрослых до ребят,
за безжалостными, за своими,
не щадящими самих себя.

Нет, земля, в неволю, в когти
смерти

ты не будешь отдана, пока
бьется хоть единственное сердце
ленинградского большевика.

Сентябрь 1941

СТИХИ О СЕБЕ

И вот в послевоенной тишине
к себе прислушалась наедине...

.

Какое сердце стало у меня,
сама не знаю, лучше или хуже:
не отогреть у мирного огня,
не остудить на самой лютой стуже.

И в черный час зажженные войною,
затем чтобы не гаснуть, не
стихать,
неженские созвездья надо мною,
неженский ямб в черствеющих
стихах.

Но даже тем, кто все хотел бы
сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал
ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.

Как два ствола, поднявшись рядом,
сплетают корни в душной глубине
и слили кроны в чистой вышине,
даря прохожим мощную прохладу, –
так скорбь и счастье живут во мне
единым корнем – в муке Ленинграда,
единой кроною – в грядущем дне.

И все неукротимей год от года,
к неистовству зенита своего
растет свобода сердца моего,
единственная на земле свобода.

1946

СТИХИ О ХЕРСОНЕССКОЙ ПОДКОВЕ

Есть у меня подкова, чтоб
счастливой –
по всем велениям примет – была.
Ее на Херсонесе, на обрыве,
на стихшем поле боя я нашла.

В ней пять гвоздей,
она ко мне по ходу

лежала

на краю земном.

Наверно, пяясь, конь сорвался в
воду

с отвесной кручи

вместе с ездоком.

Шестнадцать лет хранила я

подкову, -

недавно поняла,

какое счастье -

щедро и сурово -

она мне принесла.

Был долгий труд.

Того, что написала,

не устыжусь на миг - за все года, -

того, что думала и что сказала

раз навсегда.

Нескованная мысль, прямое слово,

вся боль и вся мечта земли

родной, -

клянется херсонесская подкова,

что это счастье - всегда со мной.

А ты, моя любовь!

Ведь ты была готова

на все: на гибель, кручу, зной...
Клянется херсонесская подкова,
что это счастье – всегда со мной.

Нет, безопасных троп не выбирает
судьба моя,

 как всадник тот и конь –
тот, чью подкову ржавую сжимает,
как символ счастья, моя ладонь.

Дойду до края жизни, до обрыва,
и возвращусь опять.

И снова буду жить.

А так, как вы, – счастливой
мне не бывать.

1959

*** * ***

...Третья зона, дачный полустанок,
у перрона – тихая сосна.

Дым, туман, струна звенит в
тумане,

невидимкою звенит струна.

Здесь шумел когда-то детский
лагерь
на веселых ситцевых полях...
Всю в ромашках, в пионерских
флагах,
как тебя любила я, земля!

Это фронт сегодня. Сотня метров
до того, кто смерть готовит мне.
Но сегодня - тихо. Даже ветра
нет совсем. Легко звучать струне.

И звенит, звенит струна в
тумане...
Светлая, невидимая, пой!
Как ты плачешь, радуешься, манишь,
кто тебе поведал, что со мной?

Мне сегодня радостно до боли,
я сама не знаю - отчего.
Дышит сердце небывалой волей,
силою расцвета своего.

Знаю, смерти нет: не подкрадетсЯ,
не задушит медленно она, -
просто жизнь сверкнет и оборветсЯ,
точно песней полная струна.

...Как сегодня тихо здесь, на
фронте.

Вот среди развалин, над трубой,
узкий месяц встал на горизонте,
деревенский месяц молодой.

И звенит, звенит струна в тумане,
о великой радости моля...

Всю в крови,
 в тяжелых, ржавых ранах,
я люблю, люблю тебя, земля!

1942

ТРИПТИХ 1949 ГОДА

1

Я не люблю за мной идущих следом
 по площадям
 и улицам.

Мой путь -
 мне кажется тогда -
 стремится к бедам:

Скорей дойти до дома
 как-нибудь.

Они в затылок дышат горячо...

Сейчас положат руку
на плечо!
Я оглянусь: чужими
притворятся,
проходимыми...
Но нас не обмануть: к беде -
к БЕДЕ -
стремглав
идет мой путь.
О, только бы: скорей. Домой.
Укрыться.
Дойти и запереться
и вернуться.
Во что угодно сразу
погрузиться:
в вино!
в заботы!
в бесполезный труд...
Но вот уж много дней,
как даже дома
меня не покидает страх
знакомый,
что по Следам
Идущие -
придут.

Не будет дома
или будет дом
и легче будет
иль еще печальней –
об этом годе расскажу потом,
о том, как стало
ничего не жаль мне.
Не жаль стареть.
Не жаль тебя терять.
Зачем мне красота, любовь
и дом уютный, –
затем, чтобы молчать?
Не-ет, не молчать, а лгать.
Лгать и дрожать ежеминутно.
Лгать и дрожать:
а вдруг – не так солгу?
И сразу – унижительная кара.
Нет. Больше не хочу и не могу.
Сама погибну.
Подло – ждать удара!
Не женское занятие: пить вино,
по кабакам шататься в
одиночку.
Но я – пила.
Мне стало все равно:
продлится ли позорная отсрочка.
Мне только слез твоих
последних жаль,

в то воскресенье,
в темный день погони,
когда разлуки каторжная даль
открылась мне –
ясней, чем на ладони...

Как плакал ты!

Последний в мире свет
мне хлынул в душу –
слез твоих сиянье!

Молитвы нет такой

и песни нет,
чтобы воспеть во мне
твое рыданье.

Но... Даже их мне не дают
воспеть...

В проклятой немоте изнемогаю...

И странно знать,

что вот придет другая,
чтобы тебе с лица их утереть...

Живу – тишком.

Живу – едва дыша.

Припоминая, вижу – повсеместно
следы свои оставила

душа:

то болью, то доверием, то
песней...

Их время и сомненье не сотрет,
не облегчить их никаким побегом,

их тут же обнаружит
и придет
и уведет меня –
Идущий Следом...

Осень 1949

3

Я не люблю звонков по телефону,
когда за ними разговора нет.

"Кто говорит? Я слушаю!"

В ответ
молчание и гул, подобный стону.
Кто позвонил и испугался вдруг,
кто замолчал за комнатной стеною?

"Далекий мой,

желанный,

верный друг,

не ты ли смолк? Нет, говори со
мною!

Одною скорбью мы разлучены,
одной безмолвной скованы печалью,
и все-таки среди этой тишины
поговорим... Нельзя, чтоб мы
молчали!"

А может быть, звонил мой давний
враг?

Хотел узнать, я дома иль не дома?
И вот, услышав голос мой знакомый,
спокоен стал и отошел на шаг.
Нет, я скрываться не хочу, не
тщусь.

Я всем открыта, точно
домочадцам...

Но так привыкла с домом я
прощаться,
что, уходя, забуду – не прощусь.
Разлука никакая не страшна:
я знаю – я со всеми, не одна...
Но, господи, как одиноко вдруг,
когда такой настигнут тишиною...
Кто б ни был ты,

мой враг или мой друг, –
я слушаю! Заговори со мною!

1949

* * *

Ты будешь ждать, пока уснут,
окостенеют окна дома,
и бледных вишен тишину
нарушит голос мой знакомый.

Я прибегу в большом платке,
с такими жаркими руками,
чтоб нашей радостной тоске
кипеть вишневыми цветами...

Троица 1927

* * *

Ты в пустыню меня послала, -
никаких путей впереди.
Ты оставила и сказала:
- Проверяю тебя. Иди.

Что ж, я шла... Я шла как умела.
Выло страшно и горько, - прости!
Оборвалась и обгорела,
истомилась к концу пути.

Я не знала, зачем ты это
испытание мне дала.
Я не спрашивала ответа:
задышалась, мужала, шла.

Вот стою пред тобою снова -
прямо в сердце мое гляди.
Повтори дорогое слово:
- Доверяю тебе. Иди.

Июнь 1938

ФЕОДОСИЯ

Юрию Герману

Когда я в мертвом городе искала
ту улицу, где были мы с тобой,
когда нашла – и всё же не узнала
.
А сизый прах и ржавчина вокзала!

. . . Но был когда-то синий-синий
день,
и душно пахло нефтью, и дрожала
седых акаций вычурная тень . . .
От шпал струился зной –
стеклянный,

зримый, –
дышало море близкое, а друг,
уже чужой, но всё еще любимый,
не выпускал моих холодных рук.
Я знала: всё. Уже ни слов, ни
споров,
ни милых встреч . . .

И всё же будет
год:
один из нас приедет в этот город

и всё, что было, вновь переживает.
Обдаст лицо блаженный воздух юга,
подкатит к горлу незабываемый зной,
на берегу проступит облик друга –
неистребимой радости земной.
О, если б кто-то, вставший с нами
рядом,
шепнул, как и е движутся года!
Ведь лишь теперь, на эти камни
глядя,
я поняла, что значит – "никогда",
что прошлого – и то на свете нет,
что нет твоих свидетелей отныне,
что к самому себе потерял след
для всех, прошедших зоною
пустыни...

1935, 1947, Феодосия

* * *

Чуж-чуженин, вечерний прохожий,
хочешь – зайди, попроси вина.
Вечер, как яблоко, – свежий,
пригожий,
теплая пыль остывать должна...

Кружева занавесей бросают
на подоконник странный узор...

Слежу по нему, как угасает
солнце мое меж дальних гор...

Чуж-чуженин, заходи, потолкуем.
Русый хлеб ждет твоих рук.
А я все время тоскую, тоскую —
смыкается молодость в тесный круг.

Расскажи о людях, на меня не
похожих,
о землях далеких, как отрада
моя...

Быть может, ты не чужой, не
прохожий,
быть может, близкий, такой же, как
я?

Томится сердце, а что — не знаю.
Всё кажется — каждый лучше меня;
всё мнится — завиднее доля чужая,
и все чужие дороги манят...

Зайди, присядь, обопрись локтями
о стол умытый — рассказывай мне.
Я хлеб нарежу большими ломтями
и занавесь опущу на окне...

1927 или 1928

* * *

Это всё неправда. Ты любим.
Ты навек останешься моим.
Ничего тебе я не прощу.
Милых рук твоих не отпущу.
А тебе меня не оттолкнуть,
даже негодую и скорбя.
Как я вижу твой тернистый путь,
скрытый, неизвестный для тебя.
Только мне под силу, чтоб идти —
мне — с тобой по твоему пути...

1940

* * *

Я иду по местам боев.
Я по улице нашей иду.
Здесь оставлено сердце мое
в том свирепо-великом году.

Здесь мы жили тогда с тобой.
Был наш дом не домом, а дотом,
окна комнаты угловой —
амбразурами пулеметам.

И все то, что было вокруг —
огнь, и лед,
и шаткая кровля, —

было нашей любовью, друг,
нашей гибелью, жизнью, кровью.
В том году,
 в том бреду,
 в том чаду,
в том, уже первобытном, льду,
я тебя, мое сердце, найду,
может быть, себе на беду.

Но такое,
 в том льду,
 в том огне,
ты всего мне сейчас нужней.
Чтоб сторала мгновенно ложь —
вдруг осмелится подойти, —
чтобы трусость бросало в дрожь,
в леденящую, — не пройдешь! —
если встанет вдруг на пути.
Чтобы лести сказать: не лги!
Чтоб хуле сказать: не твое!
Друг, я слышу твои шаги
рядом, здесь, на местах боев.
Друг мой,
 сердце мое, оглянись:
мы с тобой идем не одни.
Да, идет по местам боев
поколение твое и мое,
и — еще неизвестные нам —

все пройдут по тем же местам,
так же помня, что было тут,
с той железной молитвой пройдут...

1964

*** * ***

Я люблю сигнал зеленый,
знак свободного пути.
Нелюбимой, невлюбленной,
хорошо одной брести.

Снег легчайший осторожно
вертится у самых губ...
О, я знаю, — все возможно,
все сумею, все смогу.

Разве так уж ты устала,
беспокойная душа,
разве молодости мало,
мира, круглого, как шар?

И твердят во всей природе
зеленые огоньки:
проходите, путь свободен
от любви и от тоски...

1935

* * *

Я никогда не напишу такого
В той потрясенной, вещей немоте
ко мне тогда само являлось слово
в нагой и неподкупной чистоте.

Уже готов позорить нашу славу,
уже готов на мертвых клеветать
герой прописки и стандартных
справок...

Но на асфальте нашем - след
кровавый,
не вышаркать его, не затоптать...

1946

* * *

Я сердце свое никогда не щадила:
ни в песне, ни в дружбе, ни в
горе,

НИ В

страсти...

Прости меня, милый. Что было, то
было
Мне горько.
И все-таки всё это – счастье.

И то, что я страстно, горяче
тоскую,
и то, что, страшась небывалой
напасти,
на призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно...
И все-таки всё это – счастье.

Пускай эти слезы и это удушье,
пусть хлещут упреки, как ветки в
ненастье.
Страшной – всепрощенье. Страшной –
равнодушие.
Любовь не прощает. И всё это –
счастье.

Я знаю теперь, что она убивает,
не ждет состраданья, не делится
властью.
Покуда прекрасна, покуда живая,
покуда она не утеха, а – счастье.
1952

* * *

Я тайно и горько ревную,
угрюмую думу тая:
тебе бы, наверно, иную –
светлей и отрадней, чем я...

За мною такие утраты
и столько любимых могил!
Пред ними я так виновата,
что если б ты знал – не простил.
Я стала так редко смеяться,
так злобно порою шутить,
что люди со мною боятся
о счастье своем говорить.
Недаром во время беседы,
смолкая, глаза отвожу,
как будто по тайному следу
далеко одна ухожу.
Туда, где ни мрака, ни света –
сырая рассветная дрожь...
И ты окликаешь: "Ну, где ты?"
О, знал бы, откуда зовешь!
Еще ты не знаешь, что будут
такие минуты, когда
тебе не откликнусь оттуда,
назад не вернусь никогда.

Я тайно и горько ревную,
но ты погоди – не покинь.
Тебе бы меня, но иную,
не знавшую этих пустынь:
до этого смертного лета,
когда повстречались мы,
до горестной славы, до этой
полсердца отнявшей зимы.

Подумать – и точно осколок,
горя, шевельнется в груди...
Я стану простой и веселой –
тверди ж мне, что любишь, тверди!

1947